

БУДЬ ЗДОРОВ, ШКОЛЯР

Повесть

Посвящаю моим сыновьям Игорю и Антону

*Это не приключения.
Это о том, как я воевал.
Как меня убить хотели, но мне повезло.
Я уж и не знаю, кого мне за это благодарить.
А может быть, и некого.
Так что вы не беспокойтесь. Я жив и здоров.
Кому-нибудь от этого известия станет радостно,
а кому-нибудь, конечно, горько.
Но я жив. Ничего не поделаешь.
Всем ведь не угодить.*

СЕНО-СОЛОМА

И детстве я плакал много. В отрочестве — меньше. В юности — дважды. Первый раз это было перед самой войной, вечером. Я сказал девочке, которую любил, сказал с деланным равнодушием:

— Ну что ж, раз так, значит, конец...

— Ну что ж, значит, конец, — неожиданно спокойно согласилась она. И быстро пошла прочь. И тогда я заплакал — ведь она уходила. И утирал слезы ладонью.

Второй раз я плачу сейчас здесь, в моздокской степи. Я несу командиру полка очень ответственный пакет. Черт его знает, где он, этот командир полка! Песчаные холмы похожи один на другой. Ночь. А я второй день на передовой. А за невыполнение задания — расстрел. А мне восемнадцать лет.

Кто это сказал о расстреле? Это Коля Гринченко сказал, когда я отправлялся. У него была красивая улыбка, когда он говорил об этом.

— Держись, а не то кокнут, и все...

Приставят меня к стенке. Впрочем, какие здесь стены.

И я утираю слезы. «Ваш сын оказался трусом и...» Так будет начинаться извещение... Ну почему это именно меня послали с пакетом? Вот Коля Гринченко — такой сильный, ловкий парень. Он бы уже давно добрался. Сидел бы сейчас в теплой землянке штаба полка. Пил бы чай из кружки. Подмигивал бы связисткам и улыбался красивым ртом.

А вдруг сейчас ухнет мина? Отыщут меня утром. Командир полка скажет командиру батареи:

— Что же это вы, лейтенант Бураков, неопытного солдата послали? Не дали осмотреться человеку, привыкнуть. Вот из-за вашего равнодушия погиб хороший человек.

«Ваш сын пал смертью храбрых при выполнении ответственного оперативного задания...» Так будет начинаться извещение...

— Эй, куда идешь?

Это мне кричат. Я вижу там окопчик, и из него мне рукой машут. Мало ли куда я иду?

— Стой! — кричат за спиной.

Останавливаюсь. Подхожу. Кто-то с силой втягивает меня в окопчик за рукав.

— Куда шел? — зло спрашивают.

Я объясняю.

— А ты знаешь, что там немцы? Еще бы сто метров...

Мне объясняют. Это наш передовой дозор, оказывается. Потом меня долго ведут в землянку. Командир полка читает донесение и посматривает на меня. И я чувствую себя тщедушным и маленьким. Я смотрю на свои не очень античные ноги, тоненькие, в обмотках. И на здоровенные солдатские ботинки. Все это, должно быть, очень смешно. Но никто не смеется. И красивая связистка смотрит мимо меня. Конечно, если бы я был в сапогах, в лихой офицерской шинели... Хоть бы дали чаю. Я бы посидел за этим столом из ящика. Я бы сказал этой красавице о чем-нибудь таком... Конечно, у меня такой вид...

— Идите на батарею, — зло говорит командир полка, — и скажите вашему командиру, чтобы он таких донесений больше не посылал.

Он делает ударение на слове «таких».

— Хорошо, — говорю я. И слышу тихий смех красивой связистки. Она смотрит на меня и смеется.

— Вы давно в армии? — спрашивает полковник.

— Месяц.

— В армии нужно отвечать не «хорошо», а «есть»... и потом, это... носки вместе, пятки врозь...

— Сено-солома, — говорит кто-то из темноты угла.

— Я знаю, — говорю я. И выхожу. Почти бегу.

Опять степь. Идет снег. И тишина. Как-то даже не верится, что это фронт, передовая, что рядом опасность. Теперь-то уж я не собоюсь с пути.

Представляю, как смешно я выглядел: расставленные ноги, и руки в карманах шинели, и пилотка, натянутая на уши. А эта красавица... И даже чаю не предложили... Коля Гринченко, когда говорит с офицерами, всегда чуть улыбается. И очень изящно козыряет и говорит при этом: «Так точно». А мне слышится: «Приказывай, приказывай. Я-то тебя насквозь вижу». Он-то видит. А ботинки у меня здоровенные. Это даже хорошо. Увесистая мужская нога. И снег хрустит. Мне бы только шапку-ушанку, и я не выглядел бы таким жалким. Вот сейчас приду, доложу. Напьюсь горячего чаю. Посплю. Теперь я имею право.

За спиной у меня автомат, на боку — две гранаты, с другого бока — противогаз. Очень воинственный вид. Очень. Кто-то сказал, что воинственность — признак трусости. А я трус? Когда в восьмом классе мы поссорились с Володькой Аниловым, я первый крикнул ему:

— Давай стукнемся! — и мне стало страшно. Но мы пошли за школу. И товарищи окружили нас. Он первый ударил меня по руке.

— Ах так?! — крикнул я и толкнул его в плечо. Потом мы долго ругали друг друга, не решаясь напасть. И вдруг мне стало смешно, и я сказал ему:

— Послушай, ну я дам тебе в рыло...

— Дай, дай! — крикнул он и выставил кулаки.

— Или ты мне дашь. Кровь пойдет. Ну какая разница?

Он вдруг успокоился. Мы пожали друг другу руки по всем правилам. Но потом дружбы уже не было.

Трус я?

Вчера на рассвете мы остановились среди этих вот холмов.

— Все, — сказал лейтенант Бураков, — прибыли.

— Что это? — спросили его.

— Это передовая.

Он впервые был на фронте, как и мы все, и поэтому говорил торжественно и с гордостью.

— А где немцы? — спросил кто-то.

— Немцы там.

«Там» виднелись холмики, поросшие кустарником, реденьким и чахлым.

И я подумал, что мне совсем не страшно. И удивился, как это лейтенант так просто определил позиции врага.

НИНА

— А ты красивый, — говорит Сашка Золотарев.

Я бреюсь перед осколочком зеркала. Брить нечего. В землянке холоднее, чем на дворе. Руки красные. Нос красный. Кровь красная. Пока брился, весь изрезался. Разве я красивый? Уши врозь. Нос картошкой.

Для чего я бреюсь? Вот уже три дня на передовой, и ни одного выстрела, ни одного немца, ни одного раненого. Для чего же я бреюсь? Вчера под вечер у входа в нашу землянку остановилась та самая красивая связистка.

— Привет, — сказала она.

А я посмотрел на нее и понял, что я небрит. Я увидел себя в ее глазах. Я словно отразился в них. Большие такие глаза. Цвет я не запомнил. Я кивнул ей.

— Как жизнь? — спросила она.

— Идет, — сказал я мрачно.

— А что это ты такой хмурый? Не кормили, что ли?

Я достал папиросы.

— Ого, — сказала она, — папиросы.

— Тебе что, делать нечего? — спросил я.

— Давай покурим, — сказала она. И сама взяла из пачки папиросу.

Мы курили и молчали. Потом она сказала:

— А ты совсем еще малявка, да?

— Что это значит?

— Это рыбка, которая только из икры.

Я полез в землянку, а она смеялась вслед.

— Приходила Нинка? — спросил потом Коля Гринченко.

— Да. А ты ее знаешь?

— Я всех знаю, — сказал он.

Вот я побрился. У меня еще есть папиросы. Я чувствую, что она придет. И я расстегнул воротник гимнастерки. Пусть у меня будет лихой вид. И я расстегнул шинель и засунул руки в карманы. И встал за ящик с минами так, чтобы не видно было обмоток.

Кто я? Я боец, минометчик. У нас полковые минометы. Я рискнул жизнью. Может быть, чудо, что меня еще не ранили. Приходи, связистка, штабная крыса. Приходи, я угощу тебя папиросами. Приходи, может быть, завтра лежать мне, раскинув руки...

— А ты красивый, — говорит Сашка Золотарев. А я сплевываю и отворачиваюсь. Может, он смеется. Но губы мои, губы мои расплзаются.

Сашка соскабливает глину с ботинок палочкой, потом покрывает ботинки толстым слоем тавота.

Придет Нина или не придет? Я скажу ей: «Привет, малявка...» Мы покурим с ней. Потом будет вечер. Если это война, то почему не стреляют? Ни одного выстрела, ни одного немца, ни одного раненого.

— А почему никого из начальства нет? — спрашиваю я.

— Совещаются, — говорит Сашка.

Хорошо, что я все-таки высокий и не такой толстый, как Золотарев. Если бы мне шинель по росту!

Приходит Коля Гринченко. Очаровательно улыбается и говорит:

— Старшина — гад. Себе жарит яичницу, а мне концентрат дает. — И смотрит на нас с Сашкой.

— Не шуми, — говорит Сашка.

— Это ему не тыл, — не понимает Коля, — здесь ведь разговор короткий. В затылок — и привет. И не узнают.

— Пойди скажи ему об этом, — говорит Сашка. А старшина стоит за Колиной спиной, и на подбородке у него сияет жирное пятнышко.

— Понятно, — говорит он.

Все молчат. Он поворачивается и уходит в свою землянку. Все молчат. У Сашки блестят ботинки, как подбородок старшины. У меня вспотели ладони. Коля Гринченко красиво улыбается. А из землянки старшины и в самом деле тянет глазуньей.

— Глазунья хороша с луком, — говорит Сашка.

Приходит Шонгин. Это старый солдат. Он знаменитый солдат. Он служил во всех армиях во время всех войн. Он в каждую войну доходил до передовой, а потом у него начинался понос. Он ни разу не выстрелил, ни разу не ходил в атаку, ни разу не был ранен. У него жена, которая провожала его на все войны.

Приходит Шонгин и ест редис. И молчит.

— Откуда редиска?!

Шонгин пожимает плечами.

— Дай редисочки, Шонгин, — просит Сашка.

— Последняя, — говорит Шонгин.

Хорошо, когда нет начальства. Никто не командует, никуда не гонят. Как я шел с пакетом! Ведь это же черт знает что... Как будто Колю Гринченко не могли послать. В семнадцать лет мой отец создавал в подполье комсомол, а я стою, сутулый и смешной, и я ничего не создал, а только хвастаюсь своим благородством, которого, может быть, и нету...

А Шонгин достает редисочки одну за другой. Красные шарики летят в рот, хрустят.

— Шонгин, дай редисочки, — прошу я.

— Последняя, — говорит Шонгин.

Я загадываю: если Шонгин достанет еще редиску, Нина придет. Шонгин лезет в карман. Достает кисет. Не придет. И вдруг Коля говорит:

— Вот и Ниночка...

Я оборачиваюсь. С невысокого холмика спускается она. Рядом с ней незнакомая связистка. Нина идет легко. Шинель застегнута на все крючки. Шапка-ушанка... ах! Какая у нее ушанка!... Она немного набекрень. Привет, малявка! Все смотрят в ее сторону, все. Она идет.

— А-а-а! — Это Шонгин кричит. — А-а-а! — И падает. И Сашка падает. И Коля Гринченко.

— Ложись!

Я кидаюсь лицом вниз. Вот оно!.. Где-то далеко-далеко разрыв. Короткий. И шуршание. И тишина.

Кто-то смеется. У входа в землянку стоит старшина:

— Хватит валяться, ежики.

Мы молча поднимаемся. Коли нет. Он бежит к холму, туда, где легко шла Нина. Я вижу издалека, как она медленно поднимается с грязного снега. А та, другая, лежит неподвижно. Лицом вверх.

Мы медленно, не сговариваясь, идем туда. И другие солдаты идут. Это первая наша мина. Первая. Наша.

ВОЙНА

Я познакомился с тобой, война. У меня на ладонях большие ссадины. В голове моей — шум. Спать хочется. Ты желаешь отучить меня от всего, к чему я привык? Ты хочешь научить меня подчиняться тебе беспрекословно? Крик командира — беги, исполняй, оглушительно рявкай «Есть!», падай, ползи, засыпай на ходу. Шуршание мины — зарывайся в землю, рой ее носом, руками, ногами, всем телом, не испытывая при этом страха, не задумываясь. Котелок с перловым супом — выделяй желудочный сок, готовься, урчи, насыщайся, вытирай ложку о траву. Гибнут друзья — рой могилу, сыпь землю, машинально стреляй в небо, три раза...

Я многому уже научился. Как будто я не голоден. Как будто мне не холодно. Как будто мне никого не жалко. Только спать, спать, спать...

Потерял я ложку, как дурак. Обыкновенная такая ложка. Алюминиевая. Почерневшая. С зазубринами. И все-таки это ложка. Очень важный инструмент. Есть нечем. Суп пью прямо из котелка. А если каша... Я даже дощечку приспособил. Щепочку. Ем кашу щепочкой. У кого попросить? Каждый ложку бережет. Дураков нет. А у меня — дощечка.

А Сашка Золотарев делает на палочке зарубки. Это память о погибших.

А Коля Гринченко кривит губы в усмешке:

— Не жалей, Сашка. На наш век баб хватит.

Золотарев молчит. Я молчу. Немцы молчат. Сегодня.

Лейтенант Бураков ходит небритый. Это для форсу. Я уверен. Огонь открывать не приказано. Идут какие-то переговоры. Вот и ходит наш командир от расчета к расчету. А минометы стоят в траншеях, в ложбинке. А траншеи вырыты по всем правилам устава. А уставы мы не учим.

Ко мне подходит наводчик Гаврилов. Подсаживается. Смотрит на мою самокрутку:

— Ты что это раскурился?

— А что?

— Искры по ветру летят. Темно уже. Заметят, — говорит он и оглядывается.

Я гашу самокрутку о подметку. Ярким фейерверком сыплются искры. И тут же на немецкой стороне отзывается шестиствольный миномет. И где-то позади нас шлепаются мины. И Гаврилов ползет по снежку.

— Говорил... твою мать! — кричит он.

Разрыв за разрывом. Разрыв за разрывом. Ближе, ближе... А мимо меня бегут мои товарищи. А я сижу на снегу... Я виноват... Как я буду смотреть в глаза ребятам! Вот бежит лейтенант Бураков. Он что-то кричит. А мины падают, мины падают.

И тогда я встаю и тоже бегу и кричу:

— Товарищ лейтенант!.. Товарищ лейтенант!

Охает первый миномет. Сразу становится уютнее.словно у нас объявились сильные спокойные друзья. И смолкают крики. И уже все четыре миномета бьют куда-то вверх из ложбинки. И только телефонист, худенький юный Гургенидзе, восторженно вскрикивает:

— Попадалься!.. Эвоэ!.. Попадалься!

Я делаю то, что мне положено. Я подтаскиваю ящики с минами из укрытия. Какой я все-таки сильный. И ничего не боюсь. Таскаю себе ящики. Грохот, крики, едкий запах выстрелов. Все смешалось. Ну и сражение! Побоище! Дым коромыслом... Впрочем, я все выдумываю...

По нас ни разу не выстрелили. Это мы сами шутим. Но я виноват. И все знают об этом. И все ждут, когда я сам приду и скажу, как я виноват.

А уже становится темнее. Болит моя спина. Я еле успеваю хватать снег и глотать его.

— Отбой! — кричит Гургенидзе.

Я все расскажу командиру батарее. Пусть не думает, что я таюсь.

— Товарищ лейтенант...

Он сидит на краю окопчика и водит пальцем по карте. Он смотрит на меня, и я понимаю: ждет, когда я признаюсь.

— Я виноват. Я совсем не подумал об этом... Делайте со мной что хотите...

— А что я должен с тобой делать? — задумчиво спрашивает он. — Ты что, натворил что-нибудь?

Смеется? Или забыл? Я рассказываю ему все. Начистоту. Он смотрит с удивлением. Потом машет рукой:

— Послушай, иди отдыхай. При чем тут твоя самокрутка? Просто мы перешли в наступление. Просто нужно было стрелять. Иди, иди.

Я иду.

— Смотри не засни. Замерзнешь, — говорит вслед лейтенант.

Через час мы снова на ногах. Мы снова палим в немцев. Наступление. Я не вижу его. Какое наступление, если мы сидим на месте? Неужели так будет всегда? Грохот, запах пороха, крик Гургенидзе «Попадалься! Не попадалься!..» и эта проклятая ложбинка, из которой ничего не видно. А где-то наступление. Идут танки, пехота, кавалерия, поют «Интернационал», падают, знамен не выпуская из рук.

И когда небольшое затишье, я бегу на наблюдательный пункт. Я посмотрю хоть краешком глаза: а какое оно, наступление? Я подышу им. А НП — это не что-нибудь, а просто верхушка холма, и там на склоне лежат, едва высунув головы, наблюдатели, а комбат Бураков смотрит в стереотрубу. Я ползу по крутому склону и высовываюсь до пояса. И слышу, как запевают птицы. Птицы!

Кто-то стягивает меня за ногу вниз.

— Жить надоело? — шипит комбат. — Ты что здесь околачиваешься?

— Посмотреть хотел, — говорю я.

Наблюдатели смеются.

— Птицы откуда-то, — говорю я.

— Птицы? — переспрашивает комбат.

— Птицы...

— Какие птицы? — спрашивает из окопчика телефонист Кузин.

— Птицы, — говорю я и уже сам ничего не понимаю.

— Разве это птицы? — устало смотрит на меня комбат.

— Птицы... — смеется Кузин.

Я уже начинаю понимать, что это такое. Один из наблюдателей напяливает на палку свою шапку и поднимает над собой. И тотчас запевают птицы.

— Понял? — спрашивает комбат.

Он хороший человек. Другой бы начал топтать ногами и материться. Он хороший человек, наш комбат. Сейчас бы меня убили, если бы не он. Это он, наверное, за ноги меня подтянул.

Становится темнее, темнее. Серые сумерки окутывают холмы. И я слышу, как далеко-далеко бьет пулемет.

— Пулемет! — кричу я.

Никто не обращает на меня внимания.

— Пошли наши, — говорит комбат Бураков, — сейчас начнем. — И потом говорит мне: — На-ка погляди.

Я припадаю к стереотрубе. Я вижу степь. На краю ее, на дальнем, на фоне серого неба вытянулся полоской населенный пункт. И там из конца в конец, как фейерверк, протянулись разноцветные линии трассирующих пуль. И я слышу тарактение пулеметов, дробь автоматов. Но я не вижу наступления. Я не вижу людей.

— Пошли, пошли! — кричат за моей спиной.

— Где, где?

И вдруг я вижу: по степи кое-где перебегают, согнувшись в три погибели, одиночные фигурки. Редко-редко.

— Хватит, — говорит комбат, — иди на батарею.

Я скатываюсь с холма. Я бегу. А навстречу мне плывет, покачиваясь на холмах, «виллис». А в нем сидит генерал. Я не знаю, что мне делать: пробежать или пройти строевым, приложив ладонь к козырьку...

Генерал Багров. Он меня не видит. Он размахивает руками. А «виллис» приближается к наблюдательному пункту. И там уже вытянулся в ожидании комбат. И ребята стоят. И стереотруба стоит на своих трех ногах неподвижно.

И генерал выскакивает из машины, подбегает к комбату:

— По своим бьешь! По своим?!

Комбат молчит. Только голова мотается из стороны в сторону.

А потом генерал смотрит в стереотрубу, а комбат что-то объясняет ему. И генерал жмет ему руку.

«Чудеса!» — думаю я.

— Отбой! — кричит в телефон Кузин. На батарее тишина. Все словно прислушиваются. А минометы, как собаки, присели на задние лапы и тоже молчат.

— Что у тебя с ладонями? — спрашивает старшина. Ладони мои в крови. Я не понимаю, откуда может быть кровь. Яжимаю плечами.

— Это от минных ящичков, — говорит Шонгин.

Сейчас мне будут делать перевязку.

Старшина поворачивается и уходит. Это он, наверно, пошел санинструктора звать. Я стою с вытянутыми руками. Сколько, наверное, крови вытекло! Сейчас меня перевяжут, и я напишу домой письмо...

— Иди вымой руки, — говорит, обернувшись, старшина, — сейчас позицию менять будем.

КОЛОКОЛЬЧИК — ДАР ВАЛДАЯ...

Помогите мне. Спасите меня. Я не хочу умирать. Маленький кусочек свинца в сердце, в голову — и все? И мое горячее тело уже не будет горячим?.. Пусть будут страдания. Кто сказал, что я боюсь страдать? Это дома я много боялся. Дома. А теперь я все уже узнал, все попробовал. Разве не достаточно одному столько знать? Я ведь пригожусь для жизни. Помогите мне. Ведь это даже смешно — убивать человека, который ничего не успел совершить. Я даже десятого класса не кончил. Помогите мне. Я не о любви говорю. Черт с ней, с любовью. Я согласен не любить. В конце концов, я уже любил. С меня хватит, если на то пошло. У меня мама есть. Что будет с ней?.. А вы знаете, как сладко, когда мама гладит по голове? Я еще не успел от этого отвыкнуть. Я еще нигде толком не побывал. Я, например, не был еще на Валдае. Мне ведь нужно посмотреть, что это за Валдай? Нужно? Кто-то ведь написал: «...И колокольчик — дар Валдая...» А я даже таких строчек написать не смогу. Помогите мне. Я все пройду. До самого конца. Я буду стрелять по фашистам, как снайпер, буду единоборствовать с танками, буду голодать, не спать, мучиться...

Кому я говорю все это? У кого прошу помощи? Может быть, вот у них, у этих бревен, которыми укреплен блиндаж? Они и сами не рады, что здесь торчат. Они ведь соснами шумели так недавно... А когда мы уезжали на фронт, помнишь нашу теплушку? Ах да, конечно же, помню. Мы стояли у раскрытых дверей и пели какую-то торжественную песню. И у нас были гордо подняты головы. А эшелон стоял на запасных путях. Где? На Курском вокзале. По домам нас не пустили. Я только успел позвонить домой. Наших никого не было. Только старуха соседка Ирина Макаровна. Злая, подлая старуха. Сколько она мне крови попортила! Она спросила меня, где стоит эшелон.

— Жалко, — лицемерно сказала она, — не сможет мама повидаться-то с тобой.

И я повесил трубку и вернулся к своим. А через час появилась у вагона Ирина Макаровна и сунула мне сверток. А потом, когда мы пели, она стояла в маленькой толпе случайных женщин. Кто она мне? Прощай, Ирина Макаровна. Прости меня, разве я знал? Я никогда не смогу понять это... Может быть, ты и есть то лицо, у которого следует просить защиты? Тогда защити меня. Я не хочу умереть. Говорю об этом прямо и не стыжусь...

В свертке были сухари и четвертинка подсолнечного масла. И я поклялся сохранить один сухарь как реликвию... Съел. Значит, не смог сделать такого пустяка? А чего же я прошу? А разве не сам я, когда прилетела «рама» и все полезли по щелям, стоял на виду?

— Лезь скорей! — кричали мне.

А я не прятался. Ходил один и посмеивался вслух. Если бы они знали, что у меня внутри делается! А я не могу побежать на виду у всех. Пусть никто не знает, что мне страшно. Но себе-то самому я могу сказать правду? Вот я и говорю. Я сам себе судья. Я имею на это право. Я не Петька Любимов. Помнишь Петьку Любимова? Ну, конечно, помню. Петр Лаврентьевич Любимов. Мой сосед по квартире. Когда началась война, он по вечерам выходил на кухню и говорил:

— Немцы, паскуды, прут... Надо всем вставать на защиту. Вот у меня рука подживет — пойду добровольцем.

— Тебя и так призовут, Петенька, — говорили ему.

— Так — не штука. Так всякий пойдет. А когда Родина в опасности, нужно не ждать. Самому идти. — И спрашивает меня: — А ты Родину-то любишь?

— Люблю, — говорил я. — Этому меня еще в первом классе научили.

А однажды я встретил его в военкомате. Это когда я повестки разносил. Он меня не видел. Разговаривал с капитаном каким-то.

— Товарищ капитан, — сказал он, — вот я освобождение принес.

— Какое освобождение?

— Броня. Как специалист броню получил. Не хотят меня на производстве отпускать...

— Ну зайдите вон туда и оформляйте. Броню так броню, — сказал капитан.

Броня так броня. Вот так Петька. Какой же он специалист незаменимый, когда он часовщиком на Арбате в мастерской работал. И пошел Петька оформляться. Прошел мимо меня. Прошел. Остановился. Покраснел.

— Видал? — спросил меня. — Вот так-то. Умирать кому охота?

Наверно, он и сейчас по брони живет. Как будто он известный конструктор или великий артист.

...Этот блиндаж не нами оборудован. Он хороший, этот блиндаж. Он поменьше, правда, чем штаб полка, где Нина сидит, но все-таки неплохой. Видно, отсюда наспех уходили. Вот фотографию женскую уронили. Некрасивая молодая женщина улыбается с нее. А кто-то ее любит. Что ж он захватить-то ее позабыл?

— А ты, Сашка, броню получал? — спрашиваю я.

— Кто ж мне ее даст? — говорит Сашка. — Ее не всем дают.

— Дал бы кому надо, — говорит Коля Гринченко, — была бы тебе броня.

— Наверное, много давать? — спрашивает Сашка.

- Тысячи три. Барахлишко бы продал ради такого дела. Набрал бы.
- Барахлишка набрал бы. У меня один шифоньер три тысячи стоит.
- Ну вот и дал бы.
- А-а-а... — машет Сашка рукой. — Иди-ка ты...
- А ты что не дал? — сердится Шонгин.
- А у меня денег не было, — смеется Коля.
- Болтать ты горазд... — говорит Шонгин.

ЛАФА

Восьмой день бьют наши минометы. У нас уже трое ранено. Я их не видел. Когда вернулся на батарею, их уже унесли. Мы переезжаем с места на место, и у нас уже не то что землянок — путевых окопчиков нет. Некогда возиться. Это наступление. Когда оно началось, Коля Гринченко говорил:

— Лафа, ребята. Теперь будет лафа. Теперь мы будем отлично питаться. Теперь поживем на трофейном добре. Хватит концентраты лопать.

Тогда мы все ему поверили. И напрасно. Мы и артиллерия всюду приходим последними, когда ничего уже нет.

И опять концентрат. И дубовые сухари. И Коля Гринченко говорит старшине:

- Старшина, какого хрена этот концентрат! Где фронтовая норма?
- А ты помнишь, ежик, как ты мне грозился? — спрашивает старшина.
- А ты докажи, — улыбается Гринченко.
- Ну вот и помалкивай, — говорит старшина.

Теперь у него грозное оружие против Коли. И Коля боится его. Я это вижу. Но иногда он забывает, что боится, и тогда переходит в наступление. И это бывает очень смешно.

Я помню, как мы вошли в первый населенный пункт, тот самый, который я видел с НП. Это было разбитое степное село. В уцелевших хатах уже хозяйничали кавалеристы: переодевались, спали, играли на гармонике, а в одной даже блины пекли. И мы, конечно, всюду попадали с опозданием. Куда же нам деваться?

— Пошли, — говорит Гринченко.

И мы с Сашкой Золотаревым идем за ним. Вот входим в хату. В хате жарко. Топится печь. Пусто. Лишь над сковородкой склонился казак. Это по лампасам видно.

— Здорово, земляки, — говорит Гринченко с порога, — принимай гостей.

Коля очень здорово умеет с людьми разговаривать. Очень по-свойски. Он при этом улыбается. Он так улыбается, что нельзя не улыбнуться в ответ. И вот казак оборачивается, и я вижу скуластое лицо и раскосые глаза.

— Вот так казак! — говорит Коля. — Откуда ты такой взялся?

— Что надо? — спрашивает казак.

— Ты калмык, наверно, а не казак. Калмык, да? — И Коля говорит нам: — Давай, ребята, располагайся. Эх ты, казак калмыцкий!

И Коля кладет на скамью свой вещмешок. А калмык берет вещмешок и швыряет к порогу. Он стоит перед высоким Гринченко такой маленький, скуластый и широкоплечий.

— Что, тебе калмык не нравился?

— Уходи назад.

— Ты что, гад... — Лицо у Коли покрывается красными пятнами.

— Иди, иди, — спокойно говорит калмык.

— Я кровь проливал, а ты меня на мороз гонишь?!

Сашка берет Колю за локоть:

— Не психуй, Мыкола.

— Уводи свой люди, — говорит калмык.

— Не сердись, пожалуйста, — говорю я.

— Уходи давай...

Вдруг открывается дверь и входят казаки. Их трое.

— Что за беда? — спрашивает один.

Калмык молчит. Мы с Сашкой молчим. Коля тоже молчит. Потом он улыбается и спрашивает калмыка:

— Что ж молчишь, калмык? — И потом говорит казакам: — Вот гад... сам к печке, а русского — на мороз!

— Чего они приперлись? — спрашивает казак у калмыка.

— Давайте-ка, ребята, сыпьте отсюда, — говорит нам другой казак. А третий говорит калмыку:

— Давай, Джумак, обедать.

А мы молча уходим из хаты. На мороз. В сумерки. Если Гринченко что-нибудь сейчас скажет, он мне опротивеет. Мне кажется, что это я обидел человека. Коля молчит. «Кровь проливал»... Он ведь и царапины не получил!

Теперь мы уже за этим населенным пунктом. Бейте, минометы, бейте! Дуй, ветер! Сыпь, дождь пополам со снегом! Мокни, моя спина! Болите, мои руки!..

Что делать, чтобы не мерзли ноги? Ах, сапоги нужны. Широкие. На три номера больше. Чтобы всякою навертеть-навертеть... Чтобы нога как в гнезде была... А еще нужно ходить. А мы почти и не ходим. Все время приходится менять позиции. Значит, садись в машины и пошел-пошел! Дождь идет. Дождь идет прямо с неба. Снег идет. Откуда-то сбоку. Ветер — со всех сторон. Днем и ночью мы промокаем насквозь. К утру подмораживает. Шевелиться не хочется.

Я думаю о Нине. Мне кажется, что она на одной из машин. Погиб телефонист Кузин. Пуля вошла ему в рот. Она была уже на излете, слабая. Но что-то успела задеть, и он умер.

РАЗГОВОРЫ

Это, наверное, первая ночь, когда мы спим нормально. Мы лежим на полу покинутой хаты. Лежим на шинелях. Укрываться нельзя. Жара. Шонгин натопил печь. Нас набилось в хате с избытком. Только летает медленно и однообразно красный светлячок шонгинской самокрутки.

— Дай закурить, Шонгин, — просит Сашка Золотарев.

Шонгин молчит. Летает красный светлячок.

— Дай закурить, Шонгин, — прошу я. Мы ведем игру неторопливо, привычно.

— Да он спит, — говорит Коля Гринченко.

Красный светлячок жалко и неподвижно повисает в воздухе. Я вглядываюсь в темень и словно вижу стиснутые губы Шонгина и открытые мигающие глаза.

— Курить хочется, — говорит Сашка, — разбудить его, что ли?

— Не буди, — говорит Коля, — пусть человек поспит. Сам возьми, сколько тебе надо.

— Табак у него в противогазной сумке лежит, — говорю я.

— Я вам возьму, — говорит Шонгин, — я сам насыплю.

— Ну вот, человека разбудили, — говорит Коля.

Слышно, как кряхтит Шонгин.

Мы лежим и старательно затягиваемся горьким дымом самокрутки.

Тишина. Потом кто-то говорит из темноты:

— Хорошо б сюда Нина пришла бы. Мы бы с ней беседу провели.

Сашка Золотарев смеется.

— А я толстых люблю, — говорит он, — и чтобы выше меня.

— У Нинки муж есть, — говорю я.

Сашка смеется:

— У меня тоже жена есть. Может, Нинкин-то сейчас у моей оладьи ест.

— Война, — говорит Коля, — все перемешалось. А потом, если любовь, так ведь тут не прикажешь...

Сашка смеется.

— Паскуды вы, ребята! — говорит Шонгин и поворачивается на другой бок.

— А я на гражданке с такой и не пошел бы, — говорят из темноты.

А я пошел бы.

— У меня такая девочка была. Катя ее звали, вот была красавица. Коса до пояса.

Нинка — это так...

— А тебе ее не навязывают, — раздраженно говорит Коля.

— Не нравится, — говорю я, — не бери. Верно, Коля?

— У твоей Кати нос, наверно, пупочкой был, — смеется Сашка, — ты ведь таких любишь.

Чтоб нос пупочкой и чтоб от нее тестом пахло...

— Досмеешься, Золотарев, — угрожают из темноты.

Ты жива еще, моя старушка.

Жив и я. Привет тебе, привет.

Пусть струится над твоей избушкой...

Это Коля поет.

И вдруг открывается дверь. И голос комбата врывается в темень:

— Кто там пессимизм разводит?

И снова тишина.

Что будет завтра? Куда нас понесет? Из дому писем нет. У Сашки на палочке не осталось места для зарубок. Если меня ранят, попаду я в госпиталь. Наемся. Приеду в отпуск домой. Пойду в школу. И все увидят мои костыли. И нашивку за ранение на груди. И может быть, медаль мне дадут, так ее тоже увидят. И выйдет Женя. И уже она не будет посмеиваться. А все будут смотреть то на нее, то на меня. А я скажу ей: «Привет, Женечка». И пойду, пойду по коридору. А она догонит меня: «Может, ты зайдешь ко мне домой? Я соскучилась по тебе». — «К тебе? Домой? Что ты, что ты. Незачем. За это время многое изменилось». И пойду я по коридору.

А девочки скажут ей тихо: «Дура ты, Женька. Сама виновата».

— У меня от тыквы живот болит, — говорит Сашка.

— Я ее на гражданке сроду не ел, — говорит кто-то.

Коля советует:

— А ты, Сашка, пойдти сходи.

— Дурак, — говорит Сашка, — тыква вещь хорошая, только когда не сырая.

— А я борщ люблю, — говорят из темноты, — густой, чтобы ложка стояла. Мне никаких вареников не надо.

А у меня нету ложки. Я как без рук без ложки. Надо мною смеются, над щепочкой моей. И сам я смеюсь... А ложки-то нет у меня... И сапог нету. Были бы у меня сапоги, не так бы мы с тобой, Нина, разговаривали...

Нина, ты тоненькая такая. Вот мы идем с тобой по городу. Вот навстречу идет Женя. Она все понимает. И молчит. Дура она. А мы идем. А на мне черные брюки, белая рубашка с отложным воротничком, а через плечо — аппарат «лейка». И никакой войны.

— А еще я съел бы сметаны, — говорят из темноты.

НИНА

Сколько ни хожу в штаб полка, сколько на Нину ни смотрю — она не замечает. А свои, штабные, говорят с ней просто: «Нина, дай кружку...», «Что, милая, устала?...», «Давай покурим...», «Здорово, Ниночка! Вот и еще раз увиделись!..» и обнимают ее. А она подает кружку, улыбается, курит, сидя на ящике, и целует вернувшихся с задания, целует прямо в небритые щеки.

Это потому, что они свои. А кто они, эти свои? Они — штабные крысы. А я прихожу с батареи. Я жизнью рискую. У меня руки сбиты, шинель обожжена, губы потрескались. Но они — свои.

Я пролезаю в штабной блиндаж. Там тепло. Горит веселая пузатая трехлинеечка. Пахнет хлебом. И никого. Только Нина сидит с наушниками у приемника.

— «Дон», «Дон», я — «Москва»... Прием. «Дон», «Дон», я — «Москва», как слышно? Прием.

— Здорово, Нина, — говорю я развязно.

Она кивает мне. Это так по-приятельски, так хорошо. Это так неожиданно.

— Как меня слышно? Вот теперь хорошо? Прием... — Она снимает наушники.

— Садись, вояка. Отдыхай.

— Некогда, — говорю я и сажусь. На нары. И смотрю на нее. Она смеется:

— Ну чего уставился?

— Так. Давно не видел, как женщина смеется. Там ведь у нас, на батарее, женщин нет. Сашка вот Золотарев иногда улыбнется, Коля Гринченко, а женщин нет.

Она снова смеется:

— Этот ваш Коля сюда часто ходит. Все мне про свои геройства рассказывает. Не люблю хвастунов.

— Ты приходи к нам.

— Куда это?

— На батарею.

— Чайку попьем?

— Посидим покурим...

— Посидим покурим, — смеется она.

Какой я бравый был, когда вошел. Какой бравый! Даже пламя лампы заходило ходуном. А теперь оно не шелохнется.

— Хочешь, чайком напою?

— Я чай не пью, — говорю я. И усмехаюсь.

— А, понимаю, — говорит Нина, — ты к спирту привык.

— Привык не привык, а предпочитаю. Чаем будем на гражданке баловаться.

Она смотрит на меня прямо, не мигая, и смеется:

— Чудак ты. У нас разведчики — такие ребята, а от чая не отказываются... Ну и чудак ты. А я приду к вам, на батарею. Ладно? Посидим покурим... а?

— Да?

— Да... А у тебя глаза хорошие.

У меня белые крылья вырастают за спиной. Белые-белые. И от них светло, как от ракеты над передовой... Бред.

— И все-то ты врешь насчет спирта.

Это она говорит издали. Я ее не вижу. Только два больших глаза. Круглых. Серых. Насмешливых.

Выходят какие-то люди. Топают сапогами. Говорят разные слова. А я слышу:

— «Дон», «Дон»... у тебя глаза хорошие... перехожу на прием, прием.

— От лейтенанта Буракова? — спрашивают меня.
— Так точно.
— На-ка вот.
Я беру бумагу. Кладу ее в карман. Иду к Нине:
— Так ты придешь?
— Куда?.. А, на батарею? Посидим покурим? Да?
— Приходи.
— А я не курю ведь, — смеется она. — Так посидим, да?
— Что, Ниночка, красивых солдатиков завлекаешь? — слышу я за спиной.

— Вот ведь все спокойно, тихо, а мне муторно как-то. Предчувствие у меня, — говорит Шонгин, — и тишина мне не в радость. Ну не радует она меня.

Маленький, худенький Гургенидзе стоит перед лейтенантом Бураковым. На кончике носа у него капля. Он размахивает руками:

— Отпускай меня домой четыре дня. Кварели — мой дом. Принесу разный пурмарили, еда. Вино, хачапури, лобио. Этот каша уже нэлзя.

Лейтенант смеется:

— А кто воевать будет?
— Я буду, — клянется Гургенидзе. — Кто будет? Я буду. Пока здэсь война нэту.
— А как же ты добираться будешь?
— Что?
— Как поедешь?

Гургенидзе смотрит на лейтенанта с сожалением.

— Давай отпуск. Сдэляем.

Комбат смотрит на нас:

— Ну как, отпустим?
— Да, видите, какое дело, товарищ лейтенант, — говорит Шонгин, — отпустить бы можно, а вдруг начнется? Как же без такого связиста?

— Вот так, — говорит комбат, — не можем мы без тебя.

— Зачем нэ можем? — волнуется Гургенидзе. — Можем. Четыре дня войны нэту.

— А ты, Гургенидзе, сходи к немцам, спроси, когда начнут. Может, и можно поехать, — предлагает Сашка Золотарев.

Все смеются. Не выдержали. Гургенидзе пытается понять, что произошло. Потом машет рукой.

— Ээээ! — И сам смеется.

И капелька, не удержавшись на кончике носа, летит на землю.

И комбат говорит, посерьезнев:

— Отдыхайте. Все. Вечером будем работать.

И уходит.

Вечером опять ничего. Я просил ее заходить на батарею. Для чего она придет? Для чего? Что ей здесь делать? Как в парк пригласил: «Приходите, погуляем». Если бы она видела мои руки, покрытые шрамами и мозолями, руки мои в заусенцах, руки мои, которые отмыть невозможно, так въелась в кожу копоть... Я скажу ей: «Послушай, давай без фокусов. Ты ведь видишь все, ты ведь понимаешь. Ну давай просто: ты и я. Чтоб я знал, что ты ко мне идешь. Пусть все видят. Ну давай, а? Послушай, мы ведь с тобой одногодки. Ведь это же ерунда, что мужчина обязательно должен быть старше. Я ведь тебя давно знаю, давно-давно. Ну, пожалуйста, не делай вид, что тебе все равно. Я знаю, что ты это от смущения посмеиваешься надо мной». И когда я буду это говорить, выйдет белая луна, и снег заискрится, и никого кругом не будет, и обмотки мои будут не видны.

— Ты чего не отдыхаешь? — спрашивает Коля Гринченко.

Ну что мне сказать?

— А я вчера с Ниночкой договорился. Сегодня придет.

— Врешь ты все, Коля, — облегченно говорю я. — Как же ты врешь!

— Поглядишь, — говорит он. — Лови момент.

Коля стоит передо мной. От него пахнет одеколоном. Побрился. Побрился? Неужели придет? Ну да, конечно, она же смеялась, а я...

Вот над немецкими траншеями взвизгивает ракета белая-белая. Где-то одиноко и грустно стучит и смолкает пулемет.

Коля Гринченко покуривает в кулак. Улыбается.

— Да, а Ниночка сейчас придет. Побеседуем.

— Она ведь замужем, — говорю я, — ничего у тебя не выйдет.

Он улыбается. И покуривает. Потом отходит в сторону. И молчит. Раз молчит, значит, правда. Значит, она придет. Дурак я, дурак. Просил, унижался. А ведь надо так, как Гринченко говорил. Да, надо так. Обнять, прижать, чтобы косточки хрустнули, чтобы слова не могла вымолвить, чтобы почувствовала: вот мужчина! Это им нравится. Это. А разговоры... кому они нужны? Ах ты, Нина сероглазая! Я теперь знаю, что тебе сказать...

За блиндажом урчит «виллис». И слышится женский смех. И я вижу, как Коля бросается туда. Приехала! И я слышу голос ее:

— Здравствуй, здравствуй. А улыбочка-то, улыбочка! Невозможно устоять. А я вот в гости к вам. На минуточку. Упросила майора, чтоб с собой взял. Вот вы как живете! Смотри пожалуйста, и немцы рядом! Чего ж ты, Коля, молчишь? Как будто и войны нет — такой ты щеголь, Коля. И бриться успеваешь. А у вас тут мальчик есть, черноглазенький такой, он-то где?

— Какой еще черноглазенький? — спрашивает Гринченко.

— Ну такой, черноглазенький.

Я слышу ее тихий смех. Она хорошо смеется. Подойти? А почему я должен подойти? А почему это обязательно про меня? Вот и Гургенидзе — черноглазый. И комбат — черноглазый...

Темный тонкий ее силуэт выплывает из-за блиндажа.словно темная луна. Остановилась и слегка покачивается:

— Вот ты где, воин... Посидим покурим, а?

Она подходит, подходит, подходит...

— Интересно как! — говорит она. — Вот на войне у меня свидание. Ты что же молчишь? А-а-а, ты наверно, спирту напился, да?

— Ничего я не пил.

— Ну, расскажи что-нибудь...

— Пойдем туда, за минные ящики, посидим.

— О, какой ты! Сразу — в уголок.

— При чем тут это?

— При том, что каждому этого хочется. А на передовой тем более. Что завтра будет?

— Ты мне нравишься, Нина.

— Я знаю.

— Знаешь? Задаешься просто.

— Что ты, что ты, мальчик. Мне Коля Гринченко ваш рассказал, как ты во сне со мной разговариваешь.

— Врет он все!

Из-за блиндажа закричали:

— Нина! Шубникова! К машине!

— Ну вот. Пора. Так ты и не сказал мне ничего. Кто ты, что ты, что делать будем, — говорит она и ладонью проводит по щеке моей. — Ну, прощай. Война ведь. Может, и не увидимся.

— Я завтра приду к тебе. Ты мне нравишься.
— Я многим нравлюсь, — говорит она, — здесь ведь никого, кроме меня-то, нет.
Она бежит к машине. Она быстро бежит. А над немецкими окопами все чаще и чаще взлетают ракеты.

ЭХ, МАХОРОЧКА-МАХОРКА...

Так из затишья возникает гром, так в сером утре появляются неожиданные краски: красное — на сером, рыжее — на сером, черное — на белом. Пламя, ржавое, искореженное железо, неподвижные тела.

Нина укатила с майором в штаб. Последняя ракета над немецкими позициями как последний цветок. Сейчас Нина кричит, наверное, в микрофон: «Волга», «Волга», я — «Дон»... Как слышно? Прием...» А у меня в руках толстенная, мирная такая мина. Сейчас я передам ее заряжающему. И миномет охнет, приседая на задние лапы. Я знаю, как будет. Ох, какой я уже опытный! И ладони мои уже не болят.

А Коля Гринченко сидит на опорной плите миномета. Он очаровательно улыбается. И поет тихонечко, для себя:

Эх, махорочка-махорка...

— Немцы прорвались, слышал? — спрашивает Сашка.

— Пехота?

— Нет, танки.

— Сюда идут?

— По тылу ходят...

— Много?

— Штук сорок, говорят.

Высоко над нами плывут немецкие бомбардировщики. Им не до нас. Они сбросят бомбы далеко в тылу, в нашем.

— Будет медикам работенка, — говорит Сашка.

А Коля напевает:

Эх, махорочка-махорка...

И тогда справа на сопочке разрывается немецкий снаряд. И в ответ дружно ударяют наши минометы. Все четыре. А потом еще раз. И еще.

А за нашей спиной вспыхивают рыжие кусты разрывов. И горячий ветер касается шеи. И в затылке противно ноет. Немецкая артиллерия отвечает все чаще и чаще.

— Нашупали! — кричит кто-то.

Я ношу и ношу мины. Я уже не задумываюсь ни над чем. Каждое движение привычно до черта. Десять шагов назад. Холодного шестнадцатикилограммового поросенка — в ладони. Десять шагов вперед. Можно даже с закрытыми глазами. Несколько раз туда и обратно. И пальцы сами расстегивают крючки шинели. И подхватывают снег, и заталкивают его в рот. И вдруг возникает глупая мысль: кончится бой, возьму сахар, смешаю со снегом — получится мороженое...

Десять шагов вперед. Десять — назад. Поросят — все меньше и меньше. Сколько времени прошло? Счастливые часов не наблюдают... В спину ударяет взрывной волной. Я не могу устоять. Я падаю.

— А-а-а-а-а!.. — кричит кто-то. И снова, уже слабее: — А-а-а-а!..

Это я сам кричу. Я вижу спины товарищей. Они ведут стрельбу. Они меня не видят. Слава богу! Все у меня цело, ничего не болит. Чего я раскричался? Вот если бы прямое попадание... Но это невозможно. Почему именно в меня? А почему бы и нет? И вдруг особенно сильный разрыв. И снова крик. Это уже не я кричу. Это кто-то другой кричит. Он так кричит, что нельзя не оглянуться. Я вижу, как Коля подбегает к нему, а потом закрывает лицо ладонями и бежит обратно. И, не добежав до своего миномета, останавливается, и стоит, нагнувшись.

Кто там был, у первого миномета? Никого вспомнить не могу. Никого. Вот так начисто всех. А у Сашки на палочке не осталось места для зарубочек. А командир взвода Карпов кричит, чтобы мы свертывали позицию. И все быстро-быстро работают. Скорей-скорей... Сейчас разнесут нас немцы, если будем копать. И уже минометы прицеплены к «ЗИСам». И мы выкарабкиваемся из ложбинки, где была наша позиция. Где будет новая наша позиция? Что ждет нас впереди? Все молчат. А у меня перед глазами — черные пятна на снегу, воронка и фигура в шинели, медленно бредущая к нам. Я не хочу думать об этом, а оно сидит в голове, и никак от него не избавиться.

— Вот и нету первого, — говорит Сашка.

— Нету, — говорю я.

— И ребят нету, — говорит Сашка.

— Помолчи... — Это Шонгин требует. Он сидит согнувшись.

А машины идут. И я не замечаю уже стрельбы. Я только вижу бледное лицо Коли. Он смотрит куда-то вперед и даже не шевельнется.

— Слышь, Коль, — говорит Сашка, — скоро с Нинкой-то прощаться. В другую дивизию нас перебросят...

Коля сидит все так же.

— Помолчи, — говорит Шонгин.

— Сейчас еще танков не хватает по нашу голову, — говорит Гаврилов, — они по тылам ходят.

Мы проезжаем мимо какого-то пожарища. Сарай стоял, наверное. Он сгорел. Дымятся головни. И пахнет так отвратительно тоскливо. Запах гари, запах гари... Это не то слово.

С новых позиций мы ведем огонь по врагу. Три наших миномета рывкают куда-то через холмы. А я подношу и подношу мины.

А ведь могло ударить в наш миномет. Не в первый, а в наш. И не подносил бы я мин. Может быть, я шел бы по полю, медленно, враскачку, а потом упал бы. Здесь пока спокойно. Нас пока не накрыли. И снова:

— Отбой!

И опять — по машинам. И — в ночь, в ночь, в темень.

Мы топчемся в темноте вокруг машин. Цепляем минометы. А где-то высоко, в черном небе, гудят бомбардировщики.

— Наши идут.

— А днем-то их не видать.

— Пусть хоть ночью.

Подходит командир взвода младший лейтенант Карпов. Он руки потирает. Щеки потирает. Замерз или волнуется наш командир взвода?

— Опять переезжаем? — спрашивает Сашка Золотарев.

— А как же, — говорит Карпов, — вперед идем, ребята. Хватит отсиживаться...

— Отсиживались... — говорит Шонгин, — вон скольких потеряли!

— Война, — говорит Карпов тихо, — уж вам ли, Шонгин, старому солдату, говорить об этом?

Все молчат. Слова — это просто смешно. Действительно война. Ну что тут скажешь? Карпов виноват? Вон он какой краснощекий, молодой, энергичный... Я виноват? Коля?

Мы сидим в машине. Бездорожье. Машину покачивает, как корабль. Мы покачиваемся из стороны в сторону. Хорошо еще, что едем. А то ведь могло развезти все кругом. Попробуй потаскай на себе «ЗИСы». Мы едем. Идет снег пополам с дождем. Мы промокаем постепенно. Сначала это даже хорошо: прохладно становится после запарки. И холодные капельки уютно затекают за шиворот. А вот сейчас уже бы ни к чему. Хватит. Я знаю, через минуту нас начнет бить мелкая дрожь. И тогда попробуй-ка согрейся. И ноги замерзают. Быстро и наверняка. И мы движемся в сторону нового боя. Уже ясно слышны разрывы и автоматные трели. И озаренное небо выплывает из-за холма.

«ГДЕ ВАША ДОЧЬ?..»

Как все хорошо складывается. Завтра напишу письмо домой. Я жив. Что осталось от батареи? Два миномета и не больше тридцати человек. А я жив. Меня даже не царапнуло. Завтра напишу письмо. Домой.

— Давай поступимся... — говорит Сашка Золотарев.

Ночь. Хатка какая-то. Окна темны. Я стучу в ставню. «Мадам, не будете ли вы столь любезны...» Никто не отвечает. «Мадам, я остался в живых. О, если б вы знали, что там было!..» Я стучу в ставню. «Ботфорты — сюда, мундир — в гардероб, шпагу — на стул...» — «Благодарю вас... А где же ваша дочь?..»

— Спать... Спать.. Спать... — говорит Коля.

Я стучу в ставню. «Вальдшнеп?.. Сыр?.. Вино?..» — «О, благодарю вас. Ломтик холодной телятины и ром. Я солдат, мадам». Я стучу в ставню.

— Замерзнем к черту.

— Пошли в другую.

— Еще разок постучи.

Я стучу в ставню. Сашка стучит в ставню. Коля стучит в ставню.

«Вот ваша комната. Спокойной ночи». — «Спокойной ночи, мадам. А где же ваша дочь?..»

— Чего вам еще?

На пороге раскрытой двери — женщина. Она закутана.

— Нам бы переночевать, мамаша.

— Мы в живых остались, — говорю я.

— Радость-то какая... — говорит женщина, — только вас и не хватало.

— Мы зайдем? — спрашивает Коля.

— Холодно очень, — говорит Сашка.

— Мы переночуем только и уйдем, — говорю я. В сенях холод. В комнате тепло. Чадит коптилка. Кто-то ворочается на печи. Комната маленькая. Куда мы все ляжем? Женщина сбрасывает платок. Она совсем молодая.

— Ложись сюда, — говорит она Коле. Она в угол показывает. Хорошее место у Коли. — А ты сюда, — говорит она Сашке.

Золотарев ложится на свою шинель, расстелив ее под столом. И Коля молча раздевается. А меня устраивают на короткой лавке под печкой. Лежать можно только на боку. А, черт с ним! Лишь бы лежать. А сама хозяйка ложится на койку. На раскладную. Заваленную каким-то тряпьем. Она лезет под это тряпье, не снимая полушубка.

Я кладу шинель на лавку. Гаснет синий огонек коптилки. Чья-то рука проводит по волосам моим.

— Лезь ко мне, — говорит с печки тихий голос, — у меня тепло.

— А ты кто?

— Какая разница? Лезь. У меня тепло.

— Манька, — равнодушно говорит хозяйка, — смотри у меня...

— Тебя не спросилась, — говорит Манька с печи. А рука ее гладит меня, гладит. — Лезь сюда.

— Обожди, ботинки сниму.

— Лезь. Какая разница?

Вдруг услышат?.. «Где ваша дочь, мадам?..» Вдруг услышат... Вот тебе и дочь!.. Возле Маньки тепло. Если я прикоснусь к ней, все полетит к черту. Манька... Неужели так и называть?

— Тебя как зовут?

— Мария Андреевна...

Вот тебе раз! Как же так... У нее горячий упругий живот, руки маленькие, цепкие.

— Сколько вам лет?

— Шестнадцать. А что?

— Тишшше...

— А что? А что?

— Услышат...

— Пусть... Иди поближе.

— Манька, — говорит хозяйка, — ой смотри, Манька...

— Сама разберусь, — говорит Манька. А внизу покашливает Сашка Золотарев. А Коля говорит:

— Хозяйка, а тебе не холодно?

А Мария обвилась вокруг меня, и уже не понять, где я, где она. Все перепуталось.

— А сердце-то у тебя ой как бьется, — смеется она прямо в ухо, — испугался, что ли?

А Коля спрашивает:

— Тебе не холодно, хозяйка?

Так просто? И Нина вот так же? И все?..

— Ты что, неживой, что ли?

— Пусти меня.

— Да уж я шучу, дурачок...

— Пусти, Мария...

— Мария... — говорит хозяйка, — как же, Мария. Дура белобрысая, а не Мария.

— Пусти, хуже будет.

— Ну давай так полежим, ладно?

— Пусти...

— Ну и вались на свою лавку, раз тебе с людьми тесно.

...На лавке — прохладно. Сашка покашливает. Коля говорит из своего угла:

— Хозяйка, замерзла ведь в тряпье-то. Хочешь, шинелью накрою?..

...Кто-то ходит по хате. И что-то шепчет. Это тихий торопливый шепот. Слов я не разбираю. Это, наверное, Мария там, на печке. А может быть, это хозяйка. А может быть, это и не шепот, а тишина. Но кто-то всхлипывает. Как трудно, наверное, в этом маленьком поселке. А меня завтра засмеют. Засмеют, засмеют! И поделом мне. Сама просила. Уговаривала... Засмеют. Утром встану пораньше, пойду в другую хату, или в штаб пойду, или в машину пойду... А она как огонь горячая. Мария Андреевна. Она первая смеяться будет. Шестнадцать лет... Коля про таких говорит «кровь с молоком»... А кто-то и в самом деле плачет. Или это за окном?

— Кто это? — спрашиваю я.

— Не ори, — говорит хозяйка, — лег и спи.

Это у меня бред. А меня засмеют, засмеют... И все-таки кто-то плачет. А может быть, это Мария смеется?..

Утром Сашка Золотарев говорит:

— Похоже, что здесь припухать. Комбат картошку ест. Машины разбиты.

Сашка уже умылся. От него пахнет морозом. Щеки у него, как у ребенка, пунцовые. Уже успел все разузнать. А Коля спит. А в хате — ни Марии, ни хозяйки.

— Что ж с нами теперь будет? — спрашиваю я.

— А ничего не будет, — говорит Сашка, — подождем новую технику — и снова.

— А машины побиты?

— Начисто.

— А кухня работает?

— Какая там кухня...

Сашка достает из мешка три пачки горохового концентрата.

— Вот выдали. Будем варить. Колю-то будить надо. Вставай, Мыкола!

И вдруг входит хозяйка. И снимает платок с головы. И я вижу, что она совсем молодая. И красивая.

— Вставай, Мыкола, — говорит Сашка. Но Коля спит.

— Зачем будишь-то? — спрашивает хозяйка. — Пускай его спит. Устал ведь.

Она говорит строго очень, а сама все на Колю смотрит.

— Давай сварю, — говорит она и берет у Сашки концентрат.

...Мы сидим за столом. Мы молчим. Едим похлебку гороховую. Мы едим деревянными ложками. А у меня ложки нету. Вот уйдем отсюда, и достану я свою дощечку. А уж этой деревянной сейчас поем. Давно ложки у меня не было... Мы едим гороховую похлебку, хлеба нет. Коля ест медленно. Изредка на хозяйку посматривает. А она сидит напротив. И тоже иногда на него глядит. И все. А я жду, что Мария вот-вот начнет смеяться. А она и не смотрит на меня. Я сейчас только и разглядел ее как следует. Она курносая такая. И лицо широкое. И на лоб смешная челочка спадает. А на носу — несколько крупных не то веснушек, не то просто родинок.

— Ну как, конопушечка, — говорит ей Сашка, — как жить дальше будем?

— Проживем, — говорит Мария.

— Вкусная штука получилась, — говорит Коля и смотрит на хозяйку.

— А что это вы друг на друга и не похожи вроде? — спрашивает Сашка. — Живете вместе, сестры как будто, а не похожи...

— А мы и не сестры, — говорит Мария, — мы чужие. Просто живем вместе.

— А похлебочка-то ничего получилась, — говорит Коля. И смотрит на хозяйку. А она ничего не говорит. И вдруг входит Шонгин.

— Ну вот, принесло, — громко говорит хозяйка.

А Шонгин садится на табурет.

— Много народу побило, — говорит он, — и раненые есть. Увезли. — И достает кисет.

— Покурим? — спрашивает Сашка.

— А чего курить? — говорит Шонгин. — Тут и на одну не наберется. — И показывает кисет.

— А ты где спал, Шонгин? — спрашивает Коля.

— А я и не спал, — говорит Шонгин, — раненых больно много было. Пока всех подобрали — и утро.

— Сейчас бы покурить, — говорит Сашка.

— Покури, покури, — говорит Шонгин и затягивается. Он пускает большие клубы дыма.

И говорит: — Вот зашел поглядеть, как вы тут.

А хозяйка наливает в чашки молоко. И Коля говорит:

— Слышь, Шонгин, концентрату тебе не хватило. Может, молока попьешь?

— Козье молоко, — говорит Мария.

— А я уже ел, — говорит Шонгин, — ел. Гургенидзе ранило. Я супу сварил ему и себе.

Бедный маленький грузин. Совсем мальчик. С вечной каплей на носу. «Попадался — не попадался...»

— Сильно его, Шонгин?

— Приблизительно ничего себе, — говорит Шонгин, — на машине лежит, на последней. Сейчас повезут.

Я бегу по свежему снегу. К машине. Возле нее ходят солдаты. Гургенидзе лежит на соломе, в кузове. В обгорелой шинели. Он поднимает забинтованную голову. На кончике носа повисает капелька.

— Попадался, — грустно улыбается он.

А мы с ним не дружили. Так, знали друг друга. А у него покрасневшие веки часто-часто вздрагивают.

— Куда тебя?

— Голова попадался, живот попадался, нога тоже попадался... Шонгин мэня носил на своем спина...

— Ничего, Гургенидзе, теперь отдохнешь. Все хорошо будет.

Мотор тарахтит. Гургенидзе откидывается на солому. Руки у него на груди сложены.

— Какой у нас часть? — спрашивает он. — Какой номер?

— Отдельная минометная батарея, друг.

— Нэт, полк какой?

— Кажется, 229-й...

— А дивизия какой?

— А зачем тебе?

— Госпиталь спрашивают...

Мотор гудит ровно. Кузов подрагивает.

— Какой дивизия?

— А черт ее знает! — кричу я.

Машина идет по свежему снегу. Рука Гургенидзе торчит из кузова. Это он прощается с нами. Уехал, уехал... А ложку забыл я у него выпросить!

Комбат говорит мне:

— Собирай всех. Пора. Отдохнули.

...В хате нет никого. За домом на бревне сидит хозяйка и Коля. Она молчит. Голову подперла ладонью. Глаза у нее красные. Губы, как у девочки, надуты. А Коля курит и тоже молчит.

— Пора, Коля, — говорю я, — комбат приказал...

— Знаю, — говорит он и встает. И смотрит на меня. Я жду его.

— Знаю, — говорит он.

Я ухожу. Пусть прощаются.

ДОРОГА

— Видал у немцев машины? — спрашивает Коля. — Брезент, и все такое. Сидят, как дома. А тут...

— Я же ног не чувствую, — говорит Сашка Золотарев. — Я бы валенки обул. Пимы. Морда — черт с ней, главное — ноги. Может, у меня большой палец уже отвалился, а? Сниму ботинок, а он выпадет.

А мне бы не валенки. Мне хотя бы сапоги. С широким голенищем. Чтобы они как корабли. Встал в воду — ничего, встал в снег — ничего. Хоть ночь стой. Пожалуйста.

Степь, степь, степь. Когда мы остановимся? Идет наступление. Кочует наша батарея. То в одну часть ее направляют, то в другую. Где-то, неизвестно где, остался полк, которому были мы приданы. А там — Нина. Нина, Нина, очень ты мне хорошо улыбалась. И не могу я тебя позабыть. Кто ты и откуда? Ничего мне не известно. Где я тебя разыщу? Все померкло,

потускнело все, что было. Где-то Женя в тумане, вдали. Только ты, Нина. И зачем ты так хорошо со мной говорила?

— А я во сне разговариваю? — спрашиваю у Коли.

— Один раз говорил. С Нинкой Шубниковой.

— Что?

— Садись рядом, Нина. Ну, садись. Посидим покурим — так говорил. Потеха.

— А она тебе про меня говорила?

И зачем спросил? Сейчас он посмеется. Выдумает что-нибудь...

— Нет, не говорила, — хмурится Коля. — Чего говорить. Она с начальником штаба полка живет. Помнишь, майор такой высокий?

Помню, помню. Если бы он этого не сказал, теплее было бы. Если когда-нибудь встречу с ней, ну просто так, случайно, ведь может быть такое, я ей скажу...

— Когда я в кавалерии служил, — говорит Шонгин, — вот была беда, это уж в самом деле горе. С марша пришел, а спать нельзя: коня расседлай, напои, накорми, а время останется — сам отдыхай.

— А у англичан официантки солдат обслуживают, — говорит Коля, — и к обеду — коньячок.

— Врешь ты все, Гринченко, — ворчит Шонгин.

Машины стоят. Впереди — пробка. Вечереет.

— Слезай, ребята. Грейся. Писем из дому нет. Что там?..

— Шонгин, ты из дому письма получаешь? — спрашиваю я.

Он смотрит на меня внимательно.

— Получаю, а как же, — говорит он, достает кисет и предлагает мне закурить: — На-ка вот. Погрейся.

Если до утра вот так простоим, можно простудиться окончательно. Какие у Шонгина глаза были! Ласковые, добрые. Вчера, когда мы концентрат гороховый варили, он мне и Коле в котелки насыпал по горсти пшена. Пшено разварилось — густо было. Сам ведь подошел: «Ну-ка, ребятки, добавочки я вам насыплю...»

— Шонгин, дай закурить, — говорит Сашка.

Шонгин топчется на месте: ноги греет.

— И так хорош, — бубнит он.

Когда темно, снега не видно. Словно теплей становится. Подходит командир взвода Карпов. У него всегда румяные щеки. Даже в сумерках это видно.

Он смеется:

— Что, вояки, замерзли?

— Замерзнешь, — говорит Коля, — старшине-то тепло. Он о радиатор греется. Может, костер разведем, товарищ младший лейтенант, а?

— Никаких костров, — говорит Карпов.

Шонгин, как сторож, топчется по снегу и рукой постукивает по котелку.

Подходит Гаврилов и говорит тихонько:

— Ребята, впереди машины с крупой какой-то... И водители спят...

— Ну и что? — спрашивает Шонгин.

— А ничего, — говорит Гаврилов, — я к тому, что спят водители.

— А неплохо бы нам по котелку крупы отсыпать, — говорит Сашка Золотарев.

И он уходит в темноту, туда, к машинам, где спят водители. И все глядят ему вслед. И все молчат.

Если это пшено, можно сварить кулеш. Если гречка — ее хорошо с молоком. Если перловка — с луком. Вытерплю я до утра или нет? Все промокло на мне. Все. Вдруг я заболею воспалением легких?

Из дому писем нет. Где же ты, почта полевая?

ШКОЛЯРЫ

Я заряжаю автоматные диски. Заряжаю и молчу.

— О чем грустишь, ежик? — спрашивает старшина.

А мне трудно ему ответить. Что я отвечу?

— Это я так, — говорю я, — дом вспомнил...

Тебе-то хорошо, старшина. Ты яичницу ешь. А мы гороховый концентрат всухомятку жрем. Тебе-то хорошо, старшина. А мы которые сутки толком выспаться не можем...

— Наши к Ростову подошли, — говорит старшина.

...У тебя вон какая физиономия жизнерадостная. А нас всё меньше и меньше. И этот песочек моздокский скрипит на зубах у меня и скрипит на душе. Дал бы ты мне, старшина, сапоги, что ли. Потрескалась картонная подметка на моих американских ботинках. Я ведь ноги в костер сую, когда холодно. А ботинки красивые, красные. А что от них осталось?

— Ты бы, ежик, ботинки тавотом смазал, — говорит старшина, — смотри, они у тебя совсем никудышные.

...А какие ботинки носил я перед тем, как в армию ушел? Не помню. Или у меня были модные туфли шоколадного цвета и белый рант, как полоска приборя? Или я об этом только мечтал? Наверное, носил я черные ботинки «скороходовские». А зимой калоши надевал. Да, да, калоши. На последнем комсомольском собрании я их в школе забыл. Забыл. Пришел домой без калош. А уж война была, и никто не заметил моей пропажи. Так и ушел я. А были у меня новые калоши. Глянцевые. А теперь не знаю, будут ли у меня такие?

А когда было последнее комсомольское собрание, Женя сидела в углу. Она ничего не говорила, пока мы брали слово один за другим и клялись погибнуть за Родину. Потом она сказала:

— Мне жаль вас, мальчики. Вы думаете, это так просто — воевать? Войне нужны молчаливые, хмурые солдаты. Воины. Не надо шуметь. Мне жаль вас. И ты... — она кивнула на меня, — ты ведь ничего не умеешь еще, кроме чтения книжек. А там — смерть, смерть... И она очень любит вот таких молоденьких, как вы.

— А ты? — крикнул кто-то.

— Я тоже пойду. Только я не буду кричать и распинаться. Зачем? Я просто пойду.

— А мы тоже пойдем. Что ты нам нотации читаешь?

— Нужно быть внутренне готовым...

— Заткнись, Женька...

— Иначе никакой пользы от вас не будет.

— Заткнись!..

— Хватит, — сказал комсорг, — что это мы, как семиклассники, расшумелись?

А когда я в воротах тебя поцеловал, да так, что ты охнула и сама меня обняла, это что же? Это, значит, я, кроме книжек, ничего не умею?

— Завтра поедем минометы получать, — говорит старшина, — еще ночь понежишься, ежик.

— Какие минометы? — спрашиваю я.

— А ты не спи. Завтра пополнение придет. Будешь обучать сосунков?

— А разве я смогу?

— Что ж, тебе три года воевать, чтобы школярам наше дело объяснить?

Наше дело? Мое дело? Это о минометах? Я буду обучать?

— Буду, — говорю я.

...Школяры. Я ведь тоже был школяром. А теперь я не школяр, значит? А на том собрании я был школяром. И когда все зашумели, и я зашумел. Женя сказала:

— Вы шумите, как школяры. А ведь там этого нельзя. Там нужна суровость.

И она посмотрела на меня. Я тоже посмотрел на нее. Кто-то сказал, что, если девушка любит, она не выдерживает взгляда — краснеет и опускает глаза. Значит, она меня не любила. Не любила.

— Пошли всем классом! — крикнул кто-то.

— Пошли! — крикнули мне.

— Заткнись, — сказали мне, — заткнись, трепло...

Потом вошел директор школы, и комсорг сказал:

— Ладно, продолжим повестку дня.

А на повестке стоял один вопрос: учеба комсомольцев.

— Когда с дисками кончишь, зайдешь в каптерку, — говорит старшина и уходит.

...А после собрания мы шли по набережной все вместе. И Женя шла с нами и только не смотрела на меня. Было темно. Настороженно.

— А десятого нам не видать, ребята, — сказал кто-то. И тотчас завывла сирена. А я очутился с Женей.

— Значит, мы — школяры? — спросил я.

— Конечно, — сказала она миролюбиво.

— Значит, из нас воины не получатся?

— Конечно.

— Чтобы быть воином, нужно быть широкоплечим, да?

— Да, — засмеялась она.

— И равнодушным, да?

— Нет, — сказала она, — этого я не говорила.

— Пойдем туда, — я указал в темный переулок.

Мы шли по переулку. Было еще темнее. Еще настороженнее. И вдруг распахнулось окно. С треском. На третьем этаже. И оттуда посыпался смех. А потом поплыла музыка. Патефон играл старое довоенное танго.

— Как будто ничего и не случилось, да?

— Да, — сказал я.

Окно захлопнулось. Музыка стихла. И снова завывла сирена.

...Я зарядил все диски и иду в каптерку. Это не каптерка, а обыкновенная изба, где старшина остановился.

Старшина греет руки у печки. Наш комбат сидит за столом. Пишет. А комвзвода Карпов, розовощекий такой, бреется у окна. И сквозь белую мыльную пену видно, какие розовые у него щеки.

А перед комбатом стоит руки по швам Сашка Золотарев.

— Значит, воровал чужое пшено? — спрашивает комбат.

— Воровал, — вздыхает Сашка.

— Чужую кашу съел! Когда воровал, думал, что другой голодным останется?.. Думал?..

— Думал, товарищ лейтенант.

— И что же?

— Хотел сам наестся...

— А ты знаешь, что за это?..

— Знаю, а как же... — тихо говорит Сашка.

— Он всем раздал, — говорю я с порога.

Комбат смотрит на меня пронзительно. Ударит? Хоть бы ударил.

— Жулье, а не батарея! — говорит он.

— Разболтались, — говорит Карпов. — Это у них Гринченко — образец... Все про любовь да про жратву разговоры...

— Ладно, Карпов, брейся, — говорит комбат, — я же о другом.

А мне хочется спросить Карпова, где он был, когда мы, необстрелянные, под совхозом № 3 первый бой принимали. Он тогда в училище по режиму питался...

— Кругом! — кричит на меня комбат.

Я иду к себе. Может быть, Женя и права? Может быть, я и в самом деле школяр? Скоро кончится зима. Скоро мы вернемся на передовую. Вот тогда посмотрим, какой я школяр... И опять я встречу Нину. «Привет, малявка, — скажет она, — давно мы с тобой не виделись. Посидим покурим, а?»»

РАЗГОВОРЫ

Мы стоим в разбитом населенном пункте уже четвертые сутки. Здесь был совхоз.

Большой искромсанный ветряк, как печальная птица, смотрит сверху на нас.

Здесь сошлись потрепанные батареи, обескровленные батальоны, поредевшие в наступлении полки. Здесь в бывших блиндажах возникли склады, и невыспавшиеся интенданты раздают, выдают, снабжают.

Здесь проходят дороги на север. Туда ушло наступление. Оттуда все глуше доносится канонада. А по этим дорогам торопятся на передовую новые части. В новом обмундировании. Как с иголочки. На новых машинах. И они разглядывают нас с любопытством и почтением, со страхом и завистью.

Я уже давно не видел Нину. Я уже забываю ее лицо. Я уже забываю ее голос. Как быстро все на войне...

Коля Гринченко начистился, отоспался. Снова весел. Сашка Золотарев через каждые два часа варит себе что-нибудь в котелке в добавление к общей еде. И спит.

Глазки у него совсем маленькие. Щеки еще пунцовее. Теперь и не поймешь, у кого пунцовее — у него или у Карпова. А младший лейтенант Карпов ходит победителем в своем овчинном полушубке, в лихо сдвинутой шапке, с прутиком в руке. Он этим прутиком похлестывает себя по голенищам, как теленок, хвостом отгоняющий мух.

Голос у него стал звонче. И почему-то мы с ним чаще сталкиваемся.

— Ему делать-то нечего, — говорит Коля Гринченко, — вот он и суется куда ни попало.

— Командир, — говорит Шонгин.

— На передовой-то его и не слышно было, — говорит Сашка, — скоро воспитывать начнет.

— Командир, — говорит Шонгин. — Как же без этого?

— Он скоро до нас доберется, — говорю я, — вон он как на Колю все поглядывает.

— Он меня не любит, — говорит Коля, — вот комбат, тот любит. А этот нет.

— Комбат — это, конечно, другое дело, — говорит Шонгин, — этот с веточкой ходить не будет.

— Он умный, наш комбат, — говорит Сашка Золотарев.

Подходит младший лейтенант Карпов. Он бьет по голенищам веточкой. Он говорит Коле:

— Ты что, Гринченко, пряжку морскую носишь? Мы ведь артиллерия.

— Так точно. Артиллерия, — говорит Коля и улыбается.

— И поэтому сними пряжку и спрячь ее на память.

— Есть снять пряжку, — козыряет Коля и улыбается.

— Я ведь серьезно говорю, — говорит Карпов сдержанно-сдержанно, — здесь на фронте эти фокусы ни к чему.

— Так точно, — говорит Коля и улыбается.

Карпов оглядывает нас. Мы не улыбаемся. Сашка смотрит в сторону. Шонгин стоит смиренно, руки по швам. А я хочу встать смиренно, а не могу. То левая нога согнется, то правая.

— Снять и доложить, — говорит Карпов. И ударяет веточкой по голенищу. И уходит.

Коля торопливо снимает пряжку с ремня. Красивую пряжку с якорями.

— Так я же не противился, — говорит он, — что это его?

— Командир он, — говорит Шонгин, — а ты молокосос. А ну-ка тебя так...

Коля уходит, размахивает ремнем.

— Нарвется, — говорит Сашка Золотарев. Непонятно, о ком это он: о Карпове или о Коле. Мы уходим тоже. В свою избу. В ней тепло. Коля сидит на лавке. Меняет пряжку.

— Уйду к разведчикам. Лихие ребята, — говорит он. Мы сидим и молчим. Сидеть надоело, молчать — тоже, говорить — тоже. Пополнения нету.

— Отправили бы куда-нибудь подальше, все равно без дела сидим, — говорит Сашка. — Поехали бы мы в городишко... В увольнительную ходили бы. В парке, наверное, оркестр играет. Скоро яблони цвести начнут...

— Тебе бы Карпов дал бы там, — говорит Коля.

— Яблони и без тебя зацветут, — говорит Шонгин, — а оркестров сейчас нету. Ни к чему они вроде... Вот когда я на фронт уходил, тогда оркестр играл.

— Это был последний оркестр, — говорю я, — потом всем дали пулеметы. Все пулеметчиками стали.

— Э-э, болтать-то, — говорит Шонгин.

— Да, да. Теперь оркестры не играют. Теперь только тогда, когда город какой-нибудь освобождается.

...А когда я уходил, оркестр не играл. Была осень. Шел дождь. И мы с Сережкой Гореловым стояли на трамвайной остановке. И на нас были вещевые мешки. А в кармане лежал пакет из военкомата. И в нем — наши направления в отдельный минометный дивизион.

— Сами доедете, — сказал нам начальник второй части, — не маленькие.

Мы и поехали.

Никто нас не провожал. И Женя не пришла. Мы ехали по вечерней Москве и молчали.

А на Казанском вокзале было страшно тесно. И мы сели на пол. И это нам нравилось. Сережка курил и все время сплевывал на пол. Мы с ним играли в солдат, и нам нравилась игра. А я все время поглядывал по сторонам: может быть, увижу Женю. Нет, оркестры не играли нам на прощание. Только на возвышении стоял рояль, и к нему подсел какой-то хмельной морячок и заиграл старинный вальс. И все замолчали и стали слушать. И я слушал, а сам все время поглядывал по сторонам: не идет ли Женя.

Это был какой-то незнакомый вальс, но чувствовалось, что он старинный. Даже дети, которые плакали, вдруг перестали плакать. А морячок раскачивался на стуле, и длинный чуб его свисал и касался клавиш.

— Вот мы с тобой и солдаты, — шепотом сказал мне Сережка.

Морячок играл старинный вальс. Женщины, дети, старики, солдаты, офицеры... И я был счастлив, что сижу на полу вокзала, что рядом — мой вещмешок, что я солдат, что завтра, может быть, дадут мне оружие.

И я был счастлив, что я с ними, что хмельной морячок играет на рояле. И мне очень хотелось, чтобы Женя появилась здесь и увидела нас в этом мире, к которому мы причастились, который так непохож на наши дома, на нашу вчерашнюю жизнь...

А морячок играл старинный вальс. В зале было душно. Но никто не шумел. Все слушали музыку. Они и раньше слушали музыку. И наверное, получше этой. Но эта была особенная. И потому все молчали.

А вальс все звучал и звучал. И офицер с красной повязкой, и два солдата комендантского патруля тоже слушали. Офицер — хмуро, солдаты — удивленно.

— Вот мы с тобой и солдаты, — сказал Сережа.

А морячок продолжал играть. И длинный чуб его полоскался по клавишам. Потом он вдруг опустил руки. Они соскользнули вниз и повисли. А голова ткнулась в клавиши, и рояль издал

странный грустный звук. Все молчали. И тогда к морячку подошел офицер с красной повязкой на рукаве, и козырнул, и что-то сказал. Вдруг все, кто был ближе, закричали на офицера.

— Что же это, братишки... — сказал морячок, — а если мою мамашу фрицы сожгли?

— Сидит здесь в тылу, — сказал Сережа, — пошел бы туда, знал бы, как с повязкой ходить...

— И чего он привязался? — сказала какая-то женщина.

И тогда я побежал туда и крикнул офицеру:

— Ты, штабная крыса, нечего к людям приставать!

Офицер не слышал меня. А один из патрульных солдат сказал мне устало:

— Иди-ка, парнишка, домой.

...Фронтные сумерки лезут в окна. Света мы не зажигаем.

— Когда я в кавалерии служил, — говорит Шонгин, — мы, бывало, с марша придем, коней накормим и давай кулеш варить.

— А старшина сегодня опять сахару недодал, — говорит Коля.

— Стала мне теперь жена по ночам сниться, — говорит Сашка Золотарев, — не видать нам, ребята, увольнительных.

— Когда я учился в восьмом классе, — говорю я, — у нас учитель по математике был очень смешной. Только отвернется, а мы подсказываем, а он за это двойку, да все не тому...

ДОРОГА

Мы отправляемся на базу армии за минометами. Мы — это младший лейтенант Карпов, старшина, Сашка Золотарев и я. Карпов забирается к водителю в кабину, мы трое устраиваемся в кузове старенькой нашей полуторки.

И машина идет. Надоело это глупое сидение в населенном пункте. Лучше ехать. И все надоело. Мы улыбаемся с Сашкой и подмигиваем друг другу.

Старшина устроился возле самой кабины на мягком сиденье из пустых американских мешков. К кабине прислонился, руки сложил на животе, ноги короткие вытянул и прикрыл глаза.

— Едем, ежики, — говорит он, — смотрите не вывалитесь, пока я вздремну.

Едем.

Может быть, Нину где-нибудь встречу. «Газик» идет легко, потому что подморозило. Он торопится с холма на холм. А впереди — тоже холмы. А за ними — другие. Нам ехать-то всего сорок километров. Это такой пустяк. Посмотрю, как там в глубоком тылу поживают.

Дорога не пуста. Машины, машины... Танки идут. Пехота идет. Все — к передовой.

— А под Москвой сибиряки немцев причесали, — говорит Сашка. — Если бы не они, кто знает, как вышло бы.

— Сибиряки все одного роста, — говорю я, — метр восемьдесят. Специально подобраны.

— Дурачки, — говорит старшина, не открывая глаз, — при чем мамины калоши? Техника под Москвой все решила, техника...

А какой смысл спорить? Пусть себе говорят. Я знаю хорошо, что там было. Мне очевидцы рассказывали. И когда шли сибиряки, немцы катились на запад без остановки. Я знаю. Потому что сибиряки стояли насмерть. Они все охотники, медвежатники. Они с детства смерти в глаза смотрят. Они привыкли. А мы? Вот на нас танки пойдут, ведь мы глаза закроем. И не потому, что мы трусы. Просто мы не привыкли... Смогу я на танк выйти? Нет, не смогу. С минометами это проще.

Тут передовая далеко. Стреляй себе, постреливай, позицию меняй. А лицом к лицу... Хорошо, что мы не пехота.

Вдруг наша полуторка останавливается. Впереди дорога пуста. Только далеко-далеко какой-то одинокий маленький солдатик стоит и смотрит в нашу сторону. Старшина спит. Мы с Сашкой соскакиваем на дорогу. Младший лейтенант Карпов спит в кабине. Нижняя губа у него отвисла, как у старика. Водитель поднял капот.

А солдатик бежит к нам. Маленький солдатик. Меньше и не придумаешь. Он бежит к нам и размахивает руками.

— Гляди, гляди, — говорит Сашка. — Сибиряк бежит.

Я смеюсь. Очень уж маленький этот солдатик. Вот он подбегает к нам, и я вижу, что это девочка. Она в шинели. Аккуратно затянута ремнем. И на плечах — погоны старшины. А лицо маленькое, и нос на нем как крохотный бугорок.

— Подвезите, ребята. Целый час торчу. Все машины — к фронту, а обратно ни одной. А мне вот так надо, — говорит она и проводит рукой по горлу.

Я помогаю ей взобраться в кузов. Мы с Сашкой отдаем ей свои плащ-палатки, и она садится на них.

— Вы откуда, мальчишки?

Мы киваем в сторону передовой.

— А пятнадцатая уже шла?

Мы переглядываемся с Сашкой и пожимаем плечами. Наш «газик» наконец трогается. Старшина спит. Он даже всхрапывает.

— Это потрясающе! — говорит наша попутчица и смеется. — Храпит, как на печи.

— Он поспать любит, — говорит Сашка.

Когда она смеется, губы у нее уголками загибаются кверху. Как у клоуна.

Старшина! А я солдат. А куда она такая маленькая, тоненькая, совсем девочка?

Что случилось: всех подняло, понесло, перепутало?.. Ползают школьники по окопам, умирают от ран, безрукими, безногими домой возвращаются...

Девочка-старшина... Что случилось?

— Сорок «юнкеров» позавчера на базу налетели, — говорит она, — это потрясающе! Мы с ног сбились.

— А что бы на передовой ты делала? — спрашивает Сашка. — Там ведь и похуже бывает.

— Плакала бы, наверно, — говорит она и смеется.

...Что случилось?.. Плакала бы, конечно. Я ведь тоже почти плакал. Перед войной я смотрел кинокартину. Там все бойцы были как бойцы: взрослые, опытные, они знали что к чему. А я не знаю, Сашка не знает, и эта девочка не знает... А старшина спит, и Карпов настоящий командир, хоть и хмурый...

— Меня зовут Маша, — говорит она. — Я старшина медицинской службы. Я в классе всех мальчишек была.

— А ты похвастаться любишь, да, старшина? — говорит Сашка.

Старшина просыпается. Он долго смотрит на Машу.

— Ты еще откуда взялась? — спрашивает он.

— А можно не тыкать? — спокойно говорит Маша.

У старшины шапка ползет на затылок:

— Да как ты со мной разговариваешь?

— Это потрясающе, до чего безграмотный мужчина, — обращается она к нам.

Мне хочется смеяться. Старшина долго разглядывает Машу, потом замечает нашивки на ее погонах.

— Я вас спрашиваю, товарищ старшина, откуда вы?

Машина снова останавливается. Водитель снова поднимает капот. Из кабины выходит Карпов.

— Как там дела? — спрашивает он у нас.

— Ваши солдаты замерзли тут, пока вы спали, — говорит Маша.

— Ого! — говорит Карпов. — Какой приятный пассажир. А вы-то не замерзли?

И он приглашает ее в кабину.

Она легко выпархивает из кузова. Машет нам рукой приветственно.

Как, должно быть, в кабине тепло!.. От мотора воздух жаркий, сидеть мягко. Вся дорога — как на ладони.

Карпов лезет за ней.

— Нет, нет, — говорит она, — может быть, мне вернуться, товарищ младший лейтенант?

— Сидите уж, — холодно говорит Карпов. Он забирается в кузов.

— Что это ты, Золотарев, ноги растопырил? — говорит он. — Сидеть по-человечески не умеешь, что ли?

...Едем. Уже темнеет. Если через полчаса не будет базы, замерзну к черту.

Сашка весь замотался, только нос виден. Красный толстый нос.

— Человеку кровать нужна, а не кузов, — бубнит он, — и теплая печка, и еда повкусней, и любовь...

— А работать кто будет, ежик? — спрашивает старшина.

Когда вернусь домой, буду хорошо учиться. Спать буду ложиться в десять часов вечера. Зимой надену меховую шубу, чтобы никакой черт меня не взял...

Мы останавливаем какую-то машину. Спрашиваем. Оказывается, до базы еще около восьмидесяти километров.

— Как же так? — удивляется Карпов. — Ведь сказали, сорок.

— Другой дорогой надо было ехать, — отвечают с машины.

— Проспал дорогу, черт, — шипит Сашка.

Выходит из кабины Маша.

— За первым поворотом отсюда — совхоз № 7, — говорит она.

— Правда?

— Я неправды не говорю, к вашему сведению.

...Мало домов осталось целыми в этом совхозе. Мало. Но когда сводит пальцы, и губы заоченели, и ноги как деревянные — какая разница, сколько домов? Есть дома, и в них пускают, и в них тепло, и можно попить кипяточку.

Карпов выбирает дом побольше и поцелей и приглашает туда Машу:

— Тут вам будет удобнее. — И обращается к нам: — А вы, друзья, вон в тот, окно светится.

— Я пока у машины побуду, — говорит водитель, — после смените меня.

Я смогу выдержать еще одну минуту. Мы с Сашкой бежим к дому. Нам открывает девочка. Она в платке. В валенках.

— Кто пришел? — спрашивают из комнаты.

— Это наши, мама, — говорит девочка.

Девочку зовут Вика. Ее мама тоже в платке и в шали. Она похожа на мою маму.

Очень. Она приглашает нас в комнату. Мы сбрасываем шинели.

— Не найдется ли у вас кипяточку? — спрашиваю я замерзшими губами.

Мы вываливаем на стол дубленые свои сухари.

— Больше, хозяйюшка, ничего не имеем, — говорит Сашка, — рады бы.

— Ничего, ничего, — говорит она, — сейчас я вас покормлю.

— А Карпов-то к Маше полез, — говорит Сашка, — и старшину взял на побегушках быть.

Мы сидим за столом. Вика тоже сидит и смотрит на нас большими глазами. А ее мама ставит на стол сковороду. А на сковороде дымится пирог. Черт знает что! Как она похожа на мою маму...

— Здесь госпиталь останавливался, — говорит она, — подарили мне бутылочку спирту. Выпейте, мальчики, погрейтесь.

У нее большие синяки под глазами. Мы не отказываемся от спирта. Я выпиваю свою рюмку и чувствую, что задыхаюсь. Сижу с открытым ртом. Она смеется:

— Нужно было выдохнуть воздух перед глотком. Я совсем забыла предупредить вас. Заедайте пирогом.

Я ем пирог. Как она все-таки похожа на мою маму. У меня кружится голова.

Кружится у меня голова.

— Это из ваших сухарей сделала, — говорит она.

— Еще тяпнем? — спрашивает Сашка.

— Тяпнем, — говорю я.

Она наливает нам спирту.

— Надо бы и вам, хозяйюшка, — говорит Сашка.

Она улыбается и качает головой. А у меня голова кружится, кружится.

— Маме нельзя, — говорит Вика.

— Немножечко, — просит Сашка.

— Маме нельзя, — говорю я, — чего привязался?

Она гладит меня по голове и подкладывает мне пирог. Кружится моя голова. Жарко стало. Сашка отодвинулся куда-то далеко. И Вика отодвинулась. И мама... «Это чтобы мне не так жарко было...

— Вы здешняя? — спрашивает Сашка.

— Мы из Ленинграда, — говорит Вика.

— Как приятно, — говорю я, — а я из Москвы. Какое совпадение... Какая встреча... Где-то у черта на куличках... Я очень рад, очень рад... Если поедете в Ленинград через Москву, позвоните, пожалуйста, ко мне домой...

Сашка ест пирог. Пока он ест, я немного посплю. Положу голову на стол и посплю.

— Погоди, — говорит Сашка, — я тебя доведу.

Он кладет меня на расстеленную шинель.

— Я устал что-то, — говорю я.

— Спи, мальчик, спи, — говорит мама. Она стоит надо мной.

— Мама, — говорю я, — я жив-здоров. Скоро вернусь... С победой...

...Утром в комнате тишина. На Сашкином месте спит водитель. В доме никого нет. Надеваю шинель. Бегу к машине. Вокруг нее ходит с автоматом на груди Сашка.

— А я? — спрашиваю я. — Что же ты меня-то не разбудил?

— А ты спал — не добудишься, — говорит Сашка, — ты зашиб вчера. Тебя разморило.

— А ты так и ходишь? Один?

— А я выпался, — говорит Сашка. — Ну, походи немного, я погреюсь схожу.

Я — подлец и мерзавец. Вот я бы на его месте так, наверное, будил бы, пока не разбудил. Я бы больше своей нормы и не ходил бы, наверное. Я — скотина. Проучить меня нужно. Я — предатель. Хоть бы кто-нибудь полез сейчас в машину, я его перерезал бы очередью. Из дому выходит старшина:

— Ну как, ежик, все в порядке?

Я ничего не отвечаю. А ему и не нужно это. Он забирается в кузов, зевает во весь рот:

— Иди зови ребят. Ехать надо.

— ...Погодите немного, — говорит нам мама Вики, — сейчас пирог из картофеля готов будет.

— Спасибо, нам пора, — говорю я.

— Вы пирог за наше здоровье съешьте с дочкой, — говорит Сашка.

Мы идем к машине. Маша сидит в кузове. Она улыбается нам.

— Выяснили точно. Еще тридцать километров до базы, — говорит водитель.

— Это потрясающе! — говорит Маша.

— Все сели? — высовывается из кабины Карпов.

И вдруг я вижу: бежит от дома через дорогу Вика. Она протягивает сверток. Я на ходу успеваю взять его.

— Это пирог! — кричит она. — До свиданья!

Мы долго машем ей руками.

— Как спалось? — спрашивает Сашка у Маши.

— Мы с хозяйкой — отлично, — смеется она, — а вот товарищ младший лейтенант не спал, кажется.

— Они спали, — говорит старшина.

— Ну, значит, вы не спали, — смеется Маша, — кто-то три раза за ночь будил нас, в дверь стучал: «Маша, мне надо с вами поговорить!»

— Я не стучал, — говорит старшина.

НИНА

Карпов выходит из штаба дивизии. Мы смотрим на него.

— Пополнение уже ушло к нам, — говорит он. — Мы разминулись. Ждать не стали.

— Вот и хорошо, — говорит старшина, — забот меньше.

— Будем американский бронетранспортер получать, — говорит Карпов, — тоже штучка ничего себе. Берите, старшина, сапоги на складе, грузите полуторку и отправляйтесь. Мы в бронетранспортере.

Сапоги! Вот они когда. Настоящие сапоги. Вот теперь-то только и начнется по-настоящему. Сапоги... А то ведь, как обозник, в обмотках хожу. Даже стыдно. Автомат и обмотки. Ну уж теперь повоюем!

Карпов уходит по всяким отделам.

— В сапоги можно навертеть тряпок до черта, — говорит Сашка, — никакой мороз не прошибет.

— И не промокнут, — говорю я.

— Хорошо, — говорит Сашка, — тавотом подмазал и гуляй.

— И ложку можно за голенище заткнуть, — говорю я.

— Обуваться-то — одно удовольствие, — говорит Сашка, — потянул, и готово.

— Надо за ушки тянуть, — говорю я.

— Конечно, за ушки, — говорит Сашка. Он уходит знакомых поискать. Земляков. А я тоже похожу. Посмотрю, как тут люди живут.

Идет война. Идет она себе без передышки. Делает свои дела. Ни на кого не смотрит. Идет война. Ржавеет мой автомат. Ни разу я не выстрелил из него.

— Ты откуда взялся, господи?! — слышу я за спиной.

Это Нина! Она в гимнастерке. Пустой котелок в ее руке. Это же Нина...

— В гости приехал?

— Тебя искал, — говорю я, — с тех пор все ищу.

Она смеется. Она рада. Я вижу.

— Ах ты, мой дорогой... Вот дружок настоящий. Не забыл, значит?

Ей холодно стоять. Мороз ведь и ветер.

— Пойдем-ка поедим. Поговорим, что да как, да? Она тянет меня за руку. Я иду за ней. Иду за ней. Мы сидим с ней в штабной столовой. В бараке. Никого нет.

— Все уже обедали, — говорит она, — это я опоздала. Сейчас выпросим у Феди порцию.

— Федя, — говорит она в окошечко повару, — дай, Федя, супу. Ко мне дружок с передовой приехал...

И Федя наливает полную миску супу для меня. А Нина отламывает кусок хлеба от своего.

— С миру по нитке?.. — спрашивает в окошечко черный усатый Федя.

— Здесь тепло, — говорю я.

— Ну как там у вас? — спрашивает она. — Коля как поживает?

— Нина, — говорю я, — а ведь я и в самом деле тебя искал. Думал-думал о тебе... Что же ты молчала?

— А мы сейчас поедим с тобой, а потом покурим, да?

— Что же ты молчала?

— Не пошла бы я обедать, наверное, и не встретились бы.

— Вот теперь я вижу, какие у тебя глаза. Зеленые. А то вспоминаю, а вспомнить не могу.

Какие они? Какие? А тут понял наконец.

— Ты ешь, ешь. Остынет. Трудно там у вас?

— Знаешь, я даже представил однажды, как мы с тобой после войны встретились. На тебе — розовая жакетка, а шапки никакой...

— Совсем никакой?

— Мы идем по Арбату...

— Да ты ешь. Холодный, наверное, суп, да?

— Мне ведь скоро уезжать. Обрато. Хочешь, я тебе письмо напишу?

— А я тут девчонкам рассказывала. Там, говорю, у меня дружок есть. Черноглазенький.

На всю войну — один. А они мне не верили. Смеялись. А ты ведь помнил меня, да?

— Почему же один? Других у тебя нету?

— А другим-то ведь другое нужно...

Черноусый Федя внимательно смотрит на меня. Чего он смотрит? Может быть, жалеет, что супу дал? Может быть, он тот самый «другой»?..

— Послушай, да я ведь это всерьез. Я ведь думал о тебе. Я никогда ни о ком так не думал, как о тебе.

— Ну вот и ты тоже. — Губы у нее кривятся. — Как хорошо-то было...

А на самом краешке миски, словно червячок, одиноко повисла лапша. Белая, печальная такая. А Нина подперла щеку кулачком и смотрит мимо меня. А в зеленых ее глазах я вижу окно барака. А за ним — зеленые сумерки наступают.

— А здесь даже выстрелов не слышно, — говорит Нина, — только раз бомбили.

— Послушай, Нина, — говорю я, — ну, хочешь, я буду письма тебе писать? Просто так. Как мы там живем... А то ведь пропадешь ты. Где тебя искать-то потом?

Дурочка она какая! Неужели она не понимает? Что я, соблазнитель какой-нибудь, что ли?.. Война. Это ведь не Женя. Там все казалось, казалось. А это ведь настоящее. Неужели она не видит? Я теперь понимаю все. Вот дурочка...

— Что ж ты думаешь, я как другие? Хочешь, докажу? Хочешь, при тебе сейчас домой напишу про все. Сама отправишь...

Черноусый Федя все смотрит на меня. Делать ему нечего, что ли?

— Вот и опять у нас с тобой свидание... да?

— И когда война кончится, мы поедем вместе...

— Прямо посередине войны у нас с тобой свидание. Вот только мороженым не торгуют. Федя, — говорит она, — нет ли у тебя мороженого?

— Для вас, Ниночка, все есть, — говорит Федя, — только оно у нас горячее. В виде кипяточка.

— Я когда до войны гулять ходила, всегда мне кавалеры мороженое покупали. А один был такой — не купил. Я его быстренько разогнала... А у нас в городе парк был...

— Нина, скоро мне ехать.

— Жалко мне тебя, — говорит она, — тебе не воевать надо. Много ты навоюешь, а? Только не сердись, не сердись. Это я ведь не к тому, что не можешь. Просто зачем это тебе, да?

— А тебе?

— А мне уж и давно. Вот Федя в ресторане работал. Ресторан «Поплавок». Да, Федя? Отбивные готовил. Салаты...

— Мне ведь уезжать, — говорю я, — ты скажи, напишешь мне? Мне ведь легче жить будет.

— Напишу, — говорит она, — напишу.

Мы идем к выходу. Позвякивает ложка в котелке.

— Послушай, Нина, а тот майор, он что...

— Тот?

— Да, тот...

— О, ты его заметил.

Мы снова останавливаемся у самой двери. Она стоит рядом со мной. Совсем рядом.

Какая она все-таки маленькая, хрупкая, тоненькая. Какая она беззащитная. Я возьму ее за плечи, за круглые ее плечи... Я поглажу ее голову ладонью. Пусть она не объясняет. Я не хотел спрашивать, не хотел...

— Ты что, жалеешь меня, да?

— Нет, только и ты меня не жалей, Нина.

— А что ж ты дальше-то делать будешь?

— Буду ждать писем твоих.

— А если не дождешься? Всякое ведь бывает...

— Дождусь. Ты ведь обещала.

— Зачем тебе это, глупый?..

Глупый я, глупый. Что-то я не так сказал. Не о том говорил.

— Вот у тебя крошка хлебная на щеке, — говорю я.

Она смеется. Смахивает крошку.

— Пора идти нам с тобой. Хватятся тебя.

— Пусть хватятся, — говорю я. — Пусть хватятся. Семь бед — один ответ.

— Смелый ты у меня какой, — смеется она. И проводит ладонью по моей голове.

Мы выходим в тамбур. Я касаюсь ее плеча. Она отводит мою руку. Очень ласково отводит.

— Не надо, — говорит она, — так лучше.

И целует меня в лоб. И бежит в начавшуюся метель.

...У штаба дивизии стоит бронетранспортер. Сашка ходит вокруг. Разглядывает.

— Сейчас поедem, — говорит он.

ПОТЕХА

Бронетранспортер — очень удобная машина. Он словно серый жук. Он всюду пройдет, отовсюду вылезет. В нем уютно. Тепло. Печка электрическая работает. Можно даже поспать на ходу.

Я не сплю. Я подремываю. Что будет к вечеру, когда мы догоним свою батарею?

Может быть, будет тяжелый бой? Может быть, никого мы уже не застанем... Вот приедем на место, буду ждать писем от Нины... А Сашка спит. По-настоящему. А Карпов сидит рядом с водителем и не то спит, не то просто уставился неподвижно в разбитую дорогу.

...А старшина привез сапоги. А если мне не достанется?..

— Товарищ младший лейтенант, — говорю я, — если бы дорога хорошая была, вот бы мы мчались, наверное. Но Карпов не отвечает. Спит, видно, Карпов.

— Федосьев, — говорю я водителю, — а хорошая теперь у нас машина.

— А я не Федосьев, — говорит он, — я Федосеев. Федосеев я. Все меня путают. И Федоскиным называют, и по-всякому. А я Федосеев. На войне-то разве разберешься: Федосеев или Федосьев? Некогда разбираться. Было раз — Федишкиным назвали. Потеха ведь. А я Федосеев. Сорок лет уже Федосеев. Как говорится, с самого первого дня младенчества.

Мы везем бочку вина. Это на всю батарею. Это фронтовая норма.

— А винцом-то пахнет, — говорит Федосеев.

У него оттопыренные розовые губы, белые брови, зубы редкие, крупные. Он говорит нараспев.

Он, наверное, никогда не выходит из себя. С ним уютно, надежно.

— А винцом-то пахнет, — говорит он.

Бочка большая. Отверстие заткнуто деревянной пробкой. Прочно. Не выбить. Да если и выбить, все равно: как до вина дотянуться? А на батарею сейчас принимают пополнение. Новички. Юные ребята, наверно. Стоят, озираются. Потеха. Школяры.

Коля Гринченко вышагивает, наверное, перед ними. Фасонит. А Шонгин, наверное, покуривает и говорит Коле: «Болтать ты горазд, Гринченко...» А старшина привез сапоги. А если мне не достанется?

— А если газу прибавить, — спрашиваю я, — что получится, а, Федосеев?

— Получится прибавление скорости, — говорит Федосеев, — скорость увеличится. Это если газу прибавить. Только здесь нельзя. Дорога плохая. Трясти будет, если газу прибавить...

— Ну и пусть трясет.

— А зачем нам?

— А интересно ведь, когда трясет...

— Машину-то жалко. И люди спят. Пусть поспят. Это мы с тобой не спим. А они спят. И пусть.

А если я без сапог останусь? Меня не жалко? Гнал бы ты, Федосеев, покрепче. Может, успеем еще.

— А винцом-то пахнет, — говорит Федосеев.

А ведь действительно вином пахнет. Ароматный дух идет от бочки. И есть хочется.

Только вина нам не пить. Оно — в бочке. И пробка величиной с кулак.

— А пробку можно вытащить, — говорит Сашка на ухо мне.

— Вдруг Карпов услышит? Он нам даст...

— Конечно, можно, — говорит Карпов, не поворачивая головы.

— Это только прикажите — пара пустяков, — говорит Федосеев.

Мы съезжаем с дороги и останавливаемся у одинокого столба. Мы вытаскиваем пробку. Легко. Она как по маслу вылезает из своего гнезда. И сквозь морозный воздух пробивается облачко винного дурмана. Все сильнее и сильнее.

— Каждый пробует свою норму, — говорит Карпов, — не больше.

— Закусить бы, — говорит Сашка.

— Закусывать на батарею будем, — говорит Карпов.

Федосеев делает очень просто. Он берет резиновый шланг, которым бензин переливают, и опускает один конец в бочку.

— Котелочки подставляйте, — смеется Сашка, — чтобы не пролилось.

Золотое вино льется в подставленный котелок. Сашка прикладывается. Мы смотрим на него.

— Бензином воняет, — говорит он.

— Это ничего, — говорит Карпов и сплевывает. От отпивает несколько глотков.

— Чистый бензин, — говорит Федосеев, — шланг ведь. Ну-ка я попробую... Мы распиваем пробу. Вино крепкое. Это чувствуется сразу.

— Нужно не дышать, когда пьешь, — говорит Сашка.

— Бензинный дух — это самое полезное, — говорит Федосеев. — никаких болезней не будет. Это привыкнуть надо. Я-то вот ничего. Мне не противно. Привычка. Ну-ка дай-ка котелочек-то...

— Ну, теперь давайте по норме отливайте, и все, — говорит Карпов.

— А какая норма? — спрашиваю я.

Никто не может объяснить, какая норма.

— Пока пьется, — говорю я.

— Но-но, — говорит Карпов, — это что еще за штучки! Я уже знаю, как будет. Выпью, и теплое, как огонь, пойдет по телу. Станет жарко, томно, странно.

— Ты не пей много, Федосеев, — говорит Карпов, — тебе машину вести.

— Водичка, — говорит Федосеев. — Я этого добра могу два литра, и ни в одном глазу. Водичка.

— Да, — говорит Сашка, — это тебе, брат, не водичка. Водичка. Я уже не могу пить. В котелке еще много, а я уже не могу. Губы у меня почему-то стянуло. Трудно рот раскрыть. А у Сашки весь подбородок в вине. Он только успевает передохнуть — и снова к котелку. А Карпов хватается рукой за бронетранспортер.

— Черт, от голода уже сил нет никаких, — говорит он.

— Пора бы ехать, — говорит Федосеев и лезет в кабину.

— Нашел место, где остановиться, — говорит Карпов, — на самых буграх. Ногу поставить некуда. Вот там поровнее место-то.

— А ты здорово ухлестнул, — говорит Сашка Карпову.

— Я еще не так могу. Я чистый спирт могу, — говорит Карпов.

— А тебя как зовут? — спрашивает Сашка.

— Меня Алексеем зовут, — говорит Карпов.

Щеки у него красные-красные. И у Сашки тоже. Они как два брата.

Мы залезаем в машину.

— Тебе дать еще, Алеша? — спрашивает Сашка.

Карпов мотает головой. Сашка сосет шланг. Вино льется в котелок.

— Ну-ка попей, — тычет Сашка котелок Карпову, — попей, Алеша, водичку...

Руки у Сашки короткие, словно два обрубка, а вместо головы винная бочка. Вот это голова!

— А куда же ты пробку-то воткнешь? — смеюсь я. — В рот, что ли?

А Сашка качает своей бочкой и молчит.

— А где шланг? — спрашивает Федосеев.

— В бочке, — говорит Сашка.

— Купается, — смеюсь я.

— Купается? — спрашивает Карпов. — Я и не видел.

— Эх ты, Алеша, — смеюсь я.

Он хороший, этот Карпов, зря я на него обижался. Вон у него губы какие обиженные-обиженные. Я щекочу его шею.

— Эй, Алеша, — говорю я, — не грусти.

Сашка положил голову на бочку и спит. Пусть поспит. Он тоже хороший. Всё хорошо. Вот когда мне сапоги дадут, я еще не так воевать буду.

— Сашка, — говорю я, — заткни бочку, противно. А Сашка плачет. Большие слезы текут по щекам. Как у ребенка.

— Куда я еду? — всхлипывает он. — Надо мне больно ехать с вами! Меня Клава ждет... Где ты там, Клава?

Как противно пахнет. Смесь вина и бензина. А если смешать духи с персиками? Все равно противно. А если розы — с гуталином?.. Вот если тихонечко нить, тихонечко-тихонечко, по-комариному, тогда легче.

— Тебе что, плохо, парень? — спрашивает Федосеев. А мне не плохо. Только запах противный. И ноги не протянешь. Тесно.

— Приходи ко мне, — говорит Карпов, — я тебе покажу мою собаку.

— Куда приходиться?

— Улица Волжская, дом восемь.

— Потеха, — говорит Федосеев.

А Сашка плачет крупными слезами. Он вспоминает свою Клаву. И утирает слезы ладонями. А мне не хочется плакать. Зачем плакать?.. А у Сашки опять вместо головы бочка. Она кружится, эта бочка, нет спасенья.

— Из-за фрицев этих ты меня, Клабочка, позабудешь... Купи мне пачку «Норда» на память... Простимся у порога, Клабочка, купи себе платок пестрый, — слышится из бочки, — а придешь — еще денег дам...

А я не плачу. Я лучше поною. Так дышать легче. Потому что этот запах проклятый... прости меня, Нина. Тоненькая, маленькая, вся странная... неизвестная... прости меня.

— Куда мы? — спрашивает Карпов.

— На батарею, — говорит Федосеев. — Вон они уже летят, летят.

— Пьян ты, что ли, Федосеев?.. Кто это летит?.. Это ракеты, что ли? Ты на передовую меня везешь.

— Она самая. Вон она, рядышком.

— А на что мне она, Федосеев? Мне там делать нечего. Заворачивай ко мне на чашку чаю...

Я бы тоже чаю попил. А то этот запах проклятый...

...Открываю глаза. Стоит наш бронетранспортер. Впереди выстрелы отчетливо уже слышатся. В голове туман. Сашка спит. Карпов спит. Откинул голову, открыл рот.

Мы вино пили. Противно даже.

— Что это мы стоим?

— Прибыли. А батареи нет. Никого нет, — говорит Федосеев. — Ушел фронт.

Надо догонять... А ты хорош был. Как оно тебя, а?

Машина идет вперед. Фары погашены. Снег идет крупный-крупный. От него светло кругом. Призрачно светло. Как во сне. Я вижу сон. Или я пьян еще? Идет наступление, а мы напились. Это пьяный бред — там впереди белая фигура. Она стоит на нашем пути. Она подняла руки. В одной — автомат, в другой — фонарь «летучая мышь». Желтый огонек ничего не освещает.

— Стой, Федосеев, — говорю я.

Машина останавливается. Карпов проснулся.

Он смотрит на фигуру. Он руку тянет к кобуре.

— Это же свои, — говорит Федосеев, — узнаем-ка, что там такое.

А вдруг это немцы? Где мой автомат? Нету моего автомата. Он где-то там, под бочкой. Под винной бочкой. А фигура приближается, приближается. Федосеев распахивает дверцы.

— Ребятки! — кричит фигура. — Ребятки, помогите нам по-быстроу. Тут дружков наших побило. Зарыть надо...

Фигура приближается к машине. Это солдат. Он весь в снегу. Пола шинели оторвана.

— Чем побило? — спрашивает Карпов и зевает. Он зевает, словно с печки слез. Он зевает, когда там убитые лежат! Он пьян, этот Карпов.

— Пулями побило! — говорю я.

— Не суйтесь не в свое дело, — говорит Карпов. — Где убитые?

Солдат машет фонарем.

— Тама, тама, — говорит он, — все... семеро. А нас двое живых-то. Помогите, ребятки.

— Там бой идет, — говорит Карпов, — как же мы можем на батарею опоздать?

— И так опоздали, — говорит Федосеев.

— Пить не надо было, — говорю я и удивляюсь, как я смело говорю.

А Карпов смотрит на меня и молчит. Он ничего не говорит, потому что нечего ему сказать.

— Напились все как свиньи. А тут бой идет, — громко говорю я. — Пошли, Федосеев?

Мы вылезаем из машины. Карпов тоже. Молча. Потом — заспанный Сашка. Мы берем лопаты, ломик и идем за солдатом.

— Такое было, такое было, — говорит он на ходу, — с первого дня такого не было. Шесть часов друг дружку молотили. Потом только вперед пошли.

Мы идем по снежным буграм. Нет, не сон это. Там впереди страшный бой продолжается. Мне слышно хорошо. Вот, Ниночка, твой вояка и отличился. А под невысоким холмом долбит замерзшую землю одинокий солдат. А тот, что с нами шел, говорит:

— Вот, Егоров, подмогу я привел. Сейчас мы быстро, Егоров. Ты давай, давай долби ее. Сейчас мы все возьмемся.

А чуть в стороне лежат тела убитых. Их снегом запорошило. Шинели белые, лица белые. Семь белых людей лежат и молчат. Какой же это сон? Это убитые. Наши. А мы вино пили.

— Ничего себе командир, — говорю я Сашке, — сам напился и нам позволил.

— Молчи ты... — говорит Сашка.

— Берись-ка за лопаты, — говорит Карпов.

— Всем надо браться, — усмехаюсь я.

Сашка и Федосеев смотрят на меня.

— А я тоже берусь, — спокойно говорит Карпов. — Вот и у меня лопата есть.

А семеро лежат неподвижно, как будто их это не касается. Мы роем молча. Час или два. Земля поддается с трудом. Но она поддается. Сейчас мы будем хоронить убитых. Как я на них посмотрю?

— Да погаси ты фонарь, — говорит Карпов.

Егоров гасит фонарь. Но ничего не меняется. Он ведь почти и не светил совсем. И что это Карпову вздумалось фонарь гасить?

Яма получилась глубокая. И вот тот, первый, солдат лезет в нее.

— Ну, давай, Егоров, — говорит он. И я понимаю, что это значит. А Егоров делает нам знак, и мы идем за ним. Неужели мне сейчас брать мертвых руками и тащить их к могиле? Сашка и Егоров берут первого. Несут. Федосеев нагибается ко второму. Карпов смотрит на меня. А почему бы мне и не взять? Возьму за ноги.

Это ведь не голова. Я должен взять. Именно я. Не Карпов, а я. Я беру убитого за ноги. Мы несем.

— Осторожно, ребятки, — говорит из ямы первый солдат, — не уроните.

— Никак Леня, — говорит Егоров, проходя мимо.

— Это наш Леня, — говорит первый солдат, — давайте его сюда.

Он принимает у нас тело Лени и бережно укладывает его.

Потом мы приносим еще одного, еще одного.

— Салтыкова сверху. Он молодой был, — говорит первый солдат, — ему лежать легче будет.

— А ты помолчать не можешь? — спрашивает Карпов.

— А им ведь не обидно это, товарищ младший лейтенант, — говорит солдат, — а помолчать я могу, конечно.

Мы укладываем всех. Аккуратно. Они лежат в шинелях. Они лежат в сапогах. У всех новые сапоги. Мы молча орудуем лопатами. Мы делаем все, что нужно. Все, что нужно. Вот уже и сапоги скрылись под слоем земли. И на холмике лежит каска. А чья — неизвестно.

...Мы снова едем туда. На выстрелы. Мы молчим.

ОТКРЫТЫЙ СЧЕТ

...А кто считал, сколько раз мы уже позицию меняем? Кто считал? А сколько я поросят передал заряжающему нашему Сашке Золотареву? А как у меня руки болят...

Мы ведь не просто позицию меняем: лишь бы переменить. Мы вперед идем. Моздок уже за спиной где-то. Давай, давай! Теперь-то я уже наверняка ложку достану.

Хорошую, новенькую ложку буду иметь. А вот бой кончится, выдаст старшина мне сапоги... Это когда кончится. А когда он кончится?.. Все кланяется Коля Гринченко. Он припадает к прицелу. Выгибается весь. Он ведь длинный.

— Взво-о-од!.. — кричит Карпов. Он взмахивает веточкой. Он стоит бледный такой. — Огонь!

Сашка Золотарев сбросил с себя шинель. Ватник распахнул. Губы белые. Он только закидывает мины в ствол, только закидывает. И ахает каждый раз. И миномет ахает.

Сквозь залпы и крики слышно, как в немецком расположении начинает похрюкивать «ванюша». И где-то за батареей нашей ложатся его страшные мины.

— Как бы не накрыл, — говорит Шонгин. Он даже кричит: — Накроет, и все тогда!

— Отбой! — кричит Карпов.

— Слава богу, — жалобно смеется Сашка, — руки оторвались. Заменить-то нечем.

Приходят из укрытия «ЗИСы». Цепляем минометы. И снова хрюканье «ванюши», и шуршание мин над головой, и визг их где-то за спиной. Пронесло. Опять пронесло.

Как противна беспомощность собственная. Что я, кролик? Почему я должен ждать, когда меня стукнет? Почему ничего от меня не зависит? Стою себе на ровном месте, и вдруг — на тебе... Лучше в пехоту, лучше в пехоту... Там хоть пошел в атаку, а-а-а-а-а!.. И уж кто кого... и никакого страха — вот он враг. А тут по тебе бьют, а ты крестишься: авось да авось... Вот опять. Похрюкивает «ванюша» все настойчивей, упрямей. Все чаще ложатся мины, все ближе. Истошно кричат наши «ЗИСы», выкарабкиваются из зоны огня... Скорей же, черт!

И снова похрюкиванье. Мирное такое. Раз и еще раз. И вой...

— Ложись!

Шонгин сзади кружится на одном месте.

— Грибы собираете? — кричит Карпов.

— Обмотка...

И он кружится, кружится, ловит свою обмотку, словно котенок с клубком играет.

В бок мне ударяет чем-то. Конец?.. Слышно, бегут. Это ко мне. Нет, мимо. Жив я!

Мамочка моя милая... жив... Снова жив... Я жив... я еще жив... у меня во рту земля, а я жив... Это не меня убили...

Все бегут мимо меня. Встаю. Все цело. Mamочка моя милая... все цело. Там недалеко Шонгин лежит. И Сашка стоит над ним. Он держится рукой за подбородок, а рука у него трясется. Это не Шонгин лежит, это остатки его шинели... Где же Шонгин-то? Ничего не поймешь. Вот его котелок, автомат... ложка! Лучше не смотреть, лучше не смотреть.

— Прямое попадание, — говорит кто-то.

Коля берет меня на плечи. Ведет. И я иду.

— Землю-то выплюнь, — говорит он, — подавишься.

Мы идем к машинам. Они уже трогаются. Возле Шонгина осталось несколько человек.

— Давай, давай, — подсаживает меня Коля.

— Все целы? — спрашивает Карпов.

— Остальные все, — говорит Коля.

...К вечеру въезжаем в какой-то населенный пункт. И останавливаемся. Неужели все? Неужели спать? Подходит кухня. В животе пусто, а есть не хочется.

Мы сидим втроем на каком-то бревне. Я отхлебываю суп прямо из котелка.

— Фрицы сопротивляются, — говорит Сашка.
— Теперь уже пошло, — говорит Коля.
— Теперь наши стали и днем летать, — говорю я.
— А голова-то у тебя цела? — спрашивает Коля.
— У него голова как котел. Все выдержит, — говорит Сашка. Он смеется.

Тихонечко. Про себя.

— Жалко Шонгина, — говорю я.

Мы молча доедаем суп.

— А тебе без ложки-то легче, — говорит Коля, — хлебнул пару раз — и все. А тут пока его зачерпнешь, да пока ко рту поднесешь, да половину прольешь...

— А я тут ложки видел немецкие, — говорит Сашка, — новенькие. Валяются. Надо бы тебе принести их.

И он встает и отправляется искать ложки. Будет и у меня ложка! Правда, немецкая. Да какая разница... Сколько я без ложки прожил! Теперь зато с ложкой буду.

Ложки и в самом деле хорошие. Алюминиевые. Целая связка.

— Они мытые, — говорит Сашка, — фрицы чистоту любят. Выбирай любую.

Ложки лежат в моих руках.

— Они мытые, — говорит Сашка.

Ложек много. Выбирай любую. После еды ее нужно старательно вылизать и сунуть в карман поглубже. А немец тоже ее вылизывал. У него, наверное, были толстые мокрые губы. И когда он вылизывал свою ложку, глаза выпучивал...

— Они мытые, — говорит Сашка.

...А потом совал за голенище. А там портянки пропревшие. И снова он ее в кашу погружал, и снова вылизывал... На одной ложке — засохший комочек пищи.

— Ну, что ж ты? — говорит Коля. Я возвращаю ложки Золотареву. Я не могу ими есть. Я не знаю почему... Мы сидим и курим.

— «Рама» балуется, — говорит Коля и смотрит вверх.

Над нами летает немецкий корректировщик. В него лениво постреливают наши. Но он высоко. И уже сумерки. Он тоже изредка постреливает в нас. Еле-еле слышна пулеметная дробь.

— Злится, — говорит Коля, — вчера небось по этой улице ногами ходил, летяга фашистский.

А Сашка по одной швыряет ложки. Размахивается и швыряет. И вдруг одна ложка попадает мне в ногу. Как это случилось, понять не могу.

— Больно, — говорю я, — что ты ложки раскидываешь?

— А я не в тебя, — говорит Сашка.

А ноге все больней и больней. Я хочу встать, но левая нога моя не выпрямляется.

— Ты что? — спрашивает Коля.

— Что-то нога не выпрямляется, — говорю я, — больно очень.

Он осматривает ногу.

— Снимай-ка ватные штаны, — приказывает он.

— Что ты, что ты, — говорю я, — зачем это? Меня ж не ранило, не задело даже... — Но мне страшно уже. Где-то там, внутри, под сердцем, что-то противно копошится.

— Снимай, говорю, гад!

Я опускаю стеганные ватные штаны. Левое бедро в крови. В белой кальсонине маленькая черная дырочка, и оттуда ползет кровь... Моя кровь... А боль затухает... только голова кружится. И тошнит немного.

— Это ложкой, да? — испуганно спрашивает Сашка. — Что же это такое?

— «Рама», — говорит Коля, — хорошо, что не в голову.

Ранен!.. Как же это так? Ни боя, ничего. В тишине вечерней. Грудью на дот не бросался. В штыки не ходил. Коля уходит куда-то, приходит, снова уходит. Нога не распрямляется.

— Жилу задело, — говорит Сашка.

— Что ж никто не идет? — спрашиваю я. — Я ведь кровью истеку.

— Ничего, крови хватит. Ты вот прислонись-ка, полежи.

Приходит Коля. Приводит санинструктора. Тот делает укол мне:

— Это чтобы столбняка не было.

Перебинтовывает. Меня кладут на чью-то шинель. Кто-то приходит и уходит. Как-то все уже неинтересно. Я долго лежу. Холода я не чувствую. Я слышу, как Коля кричит:

— Замерзнет человек! Надо в санбат отправлять, а старшина, гад, машину не дает.

Кому это он говорит? А-а, это комбат идет ко мне. Он ничего не говорит. Он смотрит на меня. Может быть, сказать ему, чтобы велел сапоги мне выдать? А впрочем, к чему они мне теперь?.. Подходит полуторка. На ней бочки железные из-под бензина.

— Придется меж бочек устроиться, — слышу я голос комбата.

Какая разница, где устраиваться.

Мне суют в карман какие-то бумаги. Не могу разобрать, кто сует... Какая, впрочем, разница?

— Это документы, — говорит Коля, — в медсанбате сдашь.

Меня кладут в кузов. Пустые бочки, как часовые, стоят вокруг меня.

— Прощай, — говорит Коля, — ехать недолго.

— Прощай, Коля.

— Прощай, — говорит Сашка Золотарев, — увидимся.

— Прощай, — говорю я. — Конечно, увидимся.

И машина уходит. Все. Я сплю, пока мы едем по дороге, по которой я двигался на север. Я сплю. Без сновидений. Мне тепло и мягко. Бочки окружают меня.

Я просыпаюсь на несколько минут, когда меня несут в барак медсанбата.

Укладывают на пол. И я засыпаю снова.

...Это большая, прекрасная комната. И стекла в окнах. И тепло. Топится печь.

Меня тормозит кто-то. Это сестра в белом халате поверх ватника.

— Давай документы, милый, — говорит она, — нужно в санитарный поезд оформлять.

В тыл повезут.

Я достаю документы из кармана. Вслед за ними выпадает ложка. Ложка?!

— Ложку-то не потеряй, — говорит сестра.

Ложка?.. Откуда у меня ложка?.. Я подношу ее к глазам. Алюминиевая сточенная ложка, а на черенке ножом выцарапано «Шонгин»... Когда же это я успел ее подобрать? Шонгин, Шонгин... Вот и память о тебе. Ничего не осталось, только ложка. Только ложка. Сколько войн он повидал, а эта последняя. Бывает же когда-нибудь последняя. А жена ничего не знает. Только я знаю... Я упрячу эту ложку поглубже. Буду всегда с собой носить... прости меня, Шонгин, старый солдат...

Сестра возвращает мне бумаги.

— Спи, — говорит она, — спи. Чего губы-то дрожат? Теперь уже не страшно.

Теперь уже не страшно. Что уж теперь? Теперь мне ничего не нужно. Даже сапоги не нужны. Теперь я совсем один. Вдруг Коля войдет и скажет: «Теперь наступление. Теперь лафа, ребята. Теперь будем коньячок попивать...» Или вдруг войдет Сашка Золотарев: «Руки у меня отваливаются от работы, а заменить нечем...» А Шонгин скажет: «Э-э, болтать вы горазды. Паскуды вы, ребята...» А Шонгин теперь ничего не скажет. Ничего. Какой же я солдат — даже из автомата ни разу не выстрелил. Даже фашиста живого ни одного не видал. Какой же я солдат? Ни одного ордена у меня, ни медали даже... А рядом со мной лежат другие солдаты. Я слышу стоны. Это настоящие солдаты. Эти все прошли. Все повидали.

В барак вносят новых раненых. Одного кладут рядом со мной. Он смотрит на меня.

Бинт у него соскочил со лба. Он его накладывает снова. Матерится.

— Сейчас, сейчас, милый, — говорит сестра.

— А мне и без вас тошно, — говорит он. И смотрит на меня. Глаза у него большие, злые. — Из минометной? — спрашивает он.

— Да, — говорю я. — Знакомый? Знаешь наших-то?

— Знаю, знаю, — говорит он, — всех знаю.

— Тебя когда это?

— Утром. Вот сейчас. Когда же еще?

— А Коля Гринченко...

— И Колю твоего тоже.

— И Сашку?

— И Сашку тоже. Всех. Подчистую. Один я остался.

— И комбата?..

Он кричит на меня:

— Всех, говорю! Всех! Всех...

И я кричу:

— Врешь ты все!

— Врет он, — говорит кто-то, — ты его глаз не видишь, что ли?

— Ты его не слушай, — говорит сестра, — он ведь не в себе.

— Болтать он горазд, — говорю я, — наши вперед идут.

И мне хочется плакать. И не потому, что он сказал вдруг такое. А потому, что можно плакать и не от горя... Плачь, плачь... У тебя неопасная рана, школяр.

Тебе еще многое пройти нужно. Ты еще поживешь, дружок...

Август 1960 — февраль 1961